



"ЧУХОНСКИЙ СЫН"

Об одной опечатке

И. Ю. ВИНИЦКИЙ
кандидат филологических наук

... я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои отговорили: говорят, будет похоже на "собачий сын".

Н. В. Гоголь. Женитьба

Откроем четвёртый том Полного (Академического) собрания сочинений Н. В. Гоголя на 116-й странице и прочитаем шуточную перебранку двух слуг из комической сцены "Лакейская" (публ. 1842):

Григорий. А, московская ворона! Откуда тебя принесло?

Чужой слуга. Ах ты, чухонский сын! Побегал бы ты с мое (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. V).

Странный диалог... Не слишком ли грубо отвечает чужой слуга на безобидное, вроде бы, прозвище? И что это за новое ругательство такое: *чухонский сын*? Во всех изданиях сочинений Гоголя, вышедших после Академического собрания, мы встречаем этого чухонского сына (см.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т. М., 1959. Т. IV. С. 213; Гоголь Н. В. Собр. худож. произведений: В 5 т. М., 1959. Т. IV. С. 359; Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1968. Т. II. С. 429; Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1977. Т. V. С. 203; Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1984. Т. IV. С. 205; Гоголь Н. В. Комедии. Л., 1988. С. 240; Гоголь Н. В. Собр. соч.:

В 8 т. М., 1994. Т. IV. С. 421). Но был ли мальчик на самом деле? Разумеется, не было. В Сочинениях 1842 года, где впервые появилась "Лакейская", на прозвище "московская ворона" чужой слуга отвечал: "Ах ты, чухонский *сыч*". "Сыч" был и во всех последующих изданиях сочинений Гоголя до 1952 года. И главное, в гоголевском автографе "Лакейской", хранящемся ныне в Киеве, ясно написано: "чухонский *сыч*".

В самом деле, "московская ворона" и "чухонский *сыч*" – это два устойчивых выражения, хорошо известные в XVIII–XIX веках. "Москаль ворона, а привязчивее чёрта", – читаем в "Пословицах русского народа" В.И. Даля (М., 1957. С. 329). А "чухонского *сыча*" находим у Фонвизина в "Недоросле":

Вральман. Чему фы супы-то скалите, нефежи?

Цыфиркин (*ударив по плечу*). А ты что, брови-то нахмурил, чухонска сова? (Фонвизин Д.И. Избранное. М., 1983. С. 114).

Заметим, что противопоставление вороны и сыча (совы) встречается в русских пословицах (ср.: "Ворона сове не оборона" у В.И. Даля // Указ. соч. С. 470). "Чухонский" в устах чужого слуги означает, конечно же, петербургский, и можно сказать, что приведенная выше шуточная перебранка – это своего рода "низовой" (лакейский) отголосок полемики на тему Москвы и Петербурга, столь занимавшей Гоголя.

В Академическом собрании никак не оговаривается замена "ч" на "н", ведущая к принципиально иному смыслу. Очевидно, что имела место простая опечатка, которая, увы, перекочевала затем в последующие издания произведений Гоголя. Любопытно, что эта опечатка привела к появлению нового гоголевского "ругательства", которое удачно вписалось в ряд подобных ему слов и выражений (вроде "собачий сын" в "Сорочинской ярмарке" и "Женитьбе").

Многие современники Гоголя (прежде всего, его недоброжелатели) упрекали писателя в излишнем пристрастии к "низким" и "грубым" словам. А Булгарин даже обвинил его в языковом "цинизме" за обильное использование таких "грязных" слов, как *скотина*, *подлец*, *свинья*, *свинтус* (Северная пчела. 1836. № 98. С. 391). В самом деле, герои Гоголя часто, хлестко и крепко "бранятся". И всё же не нужно приписывать писателю новых "грубостей" там, где их и в помине не было. Следует восстановить *сыча* в своих правах и исправить курьёзную опечатку.



Как относился М.Ю. Лермонтов к русской монархии

*С. Н. АЗБЕЛЕВ,
доктор филологических наук*

Свободолюбивые настроения в творчестве Лермонтова часто истолковывались как полное неприятие поэтом общественного и государственного строя современной ему России. "Общим местом" стало приравнивание Лермонтова в идейном отношении к декабристам. Между тем, внимательное отношение к его поэтическому наследию требует отказа от подобных стереотипов.

Хорошо известно, что поэт выразил свою неприязнь к крепостничеству ("страна рабов, страна господ"), к функциям корпуса жандармов ("мундиры голубые" и "послушный им народ") и к некоторым другим явлениям тогдашней русской действительности. Но нет никаких оснований усматривать влияние идеологии декабризма на отношение Лермонтова к русской монархии: обличённые им "свободы, гения и славы палачи" – люди, "жадною толпой стоящие у трона" – это отнюдь не те, кто занимал самый трон. Лермонтов, несомненно, разделял традиционное в дворянской (и – не только дворянской) среде того времени отношение к русскому монарху как выразителю национального величия и достоинства России.

Для Лермонтова, по его словам, "нераздельны в деле славы / Народ и царь его всегда"; оскорбление, наносимое из-за рубежа русскому императору, поэт воспринимал как оскорбление своей Родине; он писал в данной связи (конкретно имея в виду Николая I), что мы "верим нашему царю! / И будем все стоять упорно / За честь его как за свою". Эти (и некоторые другие) строки не печатаются в основном корпусе послевоенных изданий Лермонтова.

Прежде, чем говорить подробнее о почти криминальной истории публикации цитированного произведения, целесообразно коснуться некоторых других стихов Лермонтова. Можно, например, вспомнить строки "Бородина":

Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражён булатом,
Он спит в земле сырой.

Согласимся, что Лермонтов, передавая здесь как бы мнение простого воина-повествователя, не раскрывал собственное отношение к русскому царю и, тем более, не выражал свое общее восприятие императорской власти в России.

Но этого уже не скажешь о написанном ещё в 1830 году стихотворении "Предсказание", где, согласно комментарию академического советского издания, "явственнее всего выражены мысли Лермонтова о грядущих революционных потрясениях" (Лермонтов М.Ю. Соч.: В 6 т. М.-Л., 1954. Т. 1. С. 408; далее цитаты из произведений Лермонтова даются по этому изданию). Главный пафос стихотворения усматривали в описании "грядущего социального катаклизма" как "расплаты за социальное зло" (Фёдоров А.В. Лермонтов и литература его времени. Л., 1967. С. 79), утверждали, что в этом произведении "писатель рисует кровавые картины народной расправы над властителями" (История русской литературы. Л., 1981. Т. 2. С. 431). Однако эти и подобные им оценки не отвечают самому лермонтовскому тексту. В нем нет даже намёков на социальное зло, отсутствует и мотив расправы над властителями.

"И пища многих будет смерть и кровь" – читаем у Лермонтова. Многие жертвы террора, порождённого государственным переворотом, "чума от смрадных, мёртвых тел" – не в императорской столице, а "среди печальных сёл", – как и картина охватившего страну голода, всё это, конечно, не является изображением наказания "властителей".

Но обратим внимание на отношение автора к российской монархии. Вне всякого сомнения именно в ней Лермонтов видит оплот законности, уничтожение которой и поведёт к разгулу террора, обращенного против невинных и беззащитных:

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт...

Падение императорской власти для Лермонтова – *чёрный* год российской истории.

Авторы, стремившиеся увидеть в творчестве Лермонтова "сочувствие революции, враждебность самодержавию" (Кирпотин В.Я. Вершины. Пушкин. Лермонтов. Некрасов. М., 1970. С. 195), пытались как бы экстраполировать на русскую действительность осуждение Лермонтовым в другом его стихотворении французского короля Карла X, свергнутого с престола; по выражению русского поэта, он "мог быть лучшим королём", но "не хотел". Однако именно французские республиканцы позднее получили гневную, презрительную отповедь Лермонтова в стихотворении "Опять, народные витии..."

Высказывались и надуманные, недоказуемые предположения – например, о неоконченном и перечёркнутом Лермонтовым стихотворении "Новгород". В упомянутых там "сынах снегов, сынах славян" предлагали усматривать декабристов, а под словом "тиран" разуместь императора Николая I. Это – достаточно очевидные натяжки, на которых авторы их, впрочем, и не настаивали, зная комментарии дореволюционных изданий, где оправданно пояснялось, что под "тираном" Лермонтов имел в виду графа А.А. Аракчеева – жестокого устроителя в Новгородской губернии так называемых военных поселений.

Критики монархического строя в России поэзия Лермонтова не содержит. Позитивное же отношение выражено достаточно ясно.

Приведём полностью центральную часть большого стихотворения "Опять, народные витии...", не исключая и те семь строк, которые отсутствуют в советских послевоенных изданиях. Оно адресовано вдохновителям выпадов французской республиканской прессы против императора Николая I:

15 Да, хитрой зависти ехидна
Вас пожирает: вам обидна
Величья нашего заря;
Вам солнца Божьего не видно
За солнцем русского царя.

3

20 Давно привыкшие венцами
И уважением играть,
Вы мнили грязными руками
Венец блестящий запятнать.
Вам непонятно, вам несродно
Всё, что высоко, благородно;
25 Не знали вы, что грозный щит
Любви и гордости народной
От вас венец тот сохранит.

4

- Безумцы мелкие, вы правы.
Мы чужды ложного стыда!
30 Так нераздельны в деле славы
Народ и царь его всегда.
Велениям власти благодарной
Мы повинемся покорно
И верим нашему царю!
35 И будем все стоять упорно
За честь его, как за свою.

Как известно, самое авторитетное дореволюционное издание сочинений Лермонтова подготовил скрупулёзный текстолог профессор Дмитрий Иванович Абрамович (впоследствии – член-корреспондент Академии наук СССР). Публикуя полный текст интересующего нас стихотворения, Д.И. Абрамович оговаривал в комментарии особенности рукописного автографа: в нем зачёркнуты две строки после стиха 22:

На голос, чуждый между нами,
Ответ внимательный сыскать!..

Эти строки, естественно, в корпус издания не были включены; ни о каких других зачёркиваниях речи нет (Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова: В 5 т. СПб., 1910. Т. 2. С. 433). Следовательно, когда готовилась "Академическая библиотека русских писателей", где напечатаны этот текст и этот комментарий, семь строк, о которых мы ведем разговор, в автографе не были вычеркнуты.

Когда это было сделано, приблизительно можно определить.

В 1936 году издательство "Academia" выпустило первый том собрания сочинений Лермонтова, который подготовил выдающийся лермонтовед профессор Борис Михайлович Эйхенбаум. Стихотворение "Опять, народные витии..." напечатано здесь тоже полностью. Во вступительной заметке к этому изданию говорится, что все тексты заново проверены по автографам, а в комментарии к этому стихотворению можно прочесть, что оно "печатается по автографу Чертковской библиотеки (Исторический музей), лл. 58–59" (Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. М.-Л., 1936. Т. 1. С. 527).

Тремя годами позже в журнале Союза писателей СССР появилась статья Н.В. Здобнова, содержащая не связанный с ее основным содержанием пассаж, посвященный стихотворению "Опять, народные витии..." Хотя "до сих пор оно воспринимается как монархическое", это, по мнению автора статьи, не вполне так, ибо "данное стихотворение до сих пор печатается в искаженном виде: зачёркнутая поэтом в автографе четвёртая строфа печатается даже без упоминания об этом важном обстоятельстве" (Здобнов Н. Новые цензурные материалы о Лермонтове // Красная Новь. 1939. № 10–11. С. 264).

Оказывается, в действительности зачёркнута не вся четвертая строфа, а только стихи с 30 по 36-й. Следовательно, Н.В. Здобнов писал свою статью, не видев самой рукописи, а доверившись неточным сведениям, исходившим от некоего лица, имевшего, как можно полагать, отношение к операции, произведённой над автографом Лермонтова.

Достаточно очевидно, что строки, слишком неприемлемые для официальной советской идеологии, были зачеркнуты не Лермонтовым, а спустя столетие после их написания: после того, как Б.М. Эйхенбаум подготовил издание, вышедшее в 1936 году (и, естественно, не позднее 1939-го).

В 1950-х годах Академическое издание сочинений Лермонтова в своём корпусе, разумеется, напечатало стихотворение уже без этих семи строк. Комментарий же лаконично сообщает: «...стихи 30–36, зачёркнутые в автографе, переносим в раздел "Варианты"» (Лермонтов М.Ю. Соч.: В 6 т. М.-Л., 1954. Т. 2. С. 367; ср. там же стр. 224, 308). Аналогично поступали составители последующих изданий, но не всегда ограничивались глухой констатацией. В четырёхтомнике под редакцией И.Л. Андроникова и Ю.Г. Оксмана комментарий к этому стихотворению подразделён на две части: первая – источниковедческая – подписана инициалами Ю.Г. Оксмана; вторая – общелитературоведческая – подписана инициалами И.Л. Андроникова. Начинает этот комментарий беспрецедентная фраза: "Печатается по черновому автографу, в котором зачёркнуты (неизвестно когда и кем) семь стихов", после чего приведены сами эти стихи (Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 1. С. 636). Столь многозначительная оговорка повлияла на краткую характеристику стихотворения "Опять, народные витии..." в "Лермонтовской энциклопедии": часть её текста, набранная мелким шрифтом, среди прочего упоминает, что "в 4-й строфе 7 строк, наиболее монархических по содержанию, кем-то зачеркнуты" (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 356).

Несомненную искренность "наиболее монархических по содержанию" строк стихотворения "Опять, народные витии..." подтверждают материалы, относящиеся к написанному через два года стихотворению "Смерть поэта", воспринятого, как известно, весьма негативно в кругах, близких ко двору. Друг Лермонтова С.А. Раевский, давая графу А.Х. Бенкендорфу письменное объяснение по поводу распространения этого стихотворения Лермонтова, замечал: "...оба мы – русские душою и, ещё более, верноподданные: вот ещё доказательство, что Лермонтов не равнодушен к славе и чести своего государя. Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование против французской безнравственности их палат и

т.п.; сравнивая государя императора с благороднейшими героями древними, а журналистов – с наёмными клеветниками, он оканчивает словами (...)", – далее Раевский цитирует последнюю строфу стихотворения "Опять, народные витии..." (Висковатый П. Лермонтов на смерть Пушкина. По подлинным документам // Вестник Европы. 1887. Кн. 1. С. 339–340). Упоминание об этой записке Раевского можно найти в комментариях советских изданий Лермонтова, но без полного цитирования приведённых мною фраз.

Между тем, стоит процитировать и объяснение самого Лермонтова: когда умер Пушкин, "государь император", пишет он, "подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила в моём воображении, очернила ещё более несправедливость последнего. Я был твёрдо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, Богом данного защитника всем угнетённым" (Там же. С. 342). Думаю, что такую аттестацию Лермонтовым Николая I трактовать как проявление трусливого лукавства, порождённого обстоятельствами, было бы кощунством над памятью поэта. В цитированном мною тексте Лермонтов далее пишет, что не намерен "отречься" от своих стихов "Смерть поэта" и оканчивает объяснение словами: "Правда всегда была моей святыней" и "я с твёрдостью прибегаю к ней как защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом Божиим" (Там же). Стоит добавить, что рассмотрение вопроса о стихах на смерть Пушкина, содержавших весьма резкие выпады по адресу людей, окружавших императорский трон, не имело для Лермонтова особенно серьёзных последствий: переведенный 25 февраля 1837 года на Кавказ, он, по ходатайству того же графа А.Х. Бенкендорфа, был императорским приказом уже 11 октября того же года переведён в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк (Там же. С. 343–344).

Очевидно, что последующим издателям сочинений Лермонтова при определении состава стихотворения "Опять, народные витии..." следует исходить не из нынешнего состояния автографа, а из текста первой полной публикации в журнале "Библиографические записки" за 1859 год.

Говоря же об отношении Лермонтова к русской монархии, не пора ли расстаться с представлениями, которые были традиционны для советского литературоведения. Пришло время оценивать классиков нашей литературы не только с полной объективностью, отдавая должное их поэтическому мастерству, но и с полной непредвзятостью, характеризуя идейные представления, отображённые их поэтическим наследием.

По получении этой лермонтовской статьи Сергея Николаевича Азбелева, нашего постоянного автора, специалиста по устному эпосу и текстологии фольклора, мы сочли необходимым обратиться за разъяснениями к Людмиле Николаевне Назаровой, принимавшей участие в подготовке текстов, вариантов и примечаний в трёх академических собраниях сочинений М.Ю. Лермонтова, готовившихся в ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. Её краткий комментарий печатается следом.

Комментарий текстолога-лермонтоведа

Действительно, впервые строки 30–36 стихотворения "Опять, народные витии..." оказались не включёнными в основной текст во втором томе (1954) Собрания сочинений М.Ю. Лермонтова в шести томах, но были приведены в разделе Варианты. Издание было подготовлено к печати группой научных сотрудников ИРЛИ (Пушкинский Дом) под руководством доктора филологических наук, известного текстолога Б.В. Томашевского. Вопрос о включении этих строк, зачёркнутых в автографе, специально обсуждался на заседании текстологической комиссии, членами которой были Б.В. Томашевский, И.Л. Андроников (он же – контрольный рецензент издания) и Т.П. Голованова, кандидат филологических наук, ученый секретарь комиссии.

Одновременно И.Л. Андроников, проживавший в Москве и, по поручению редколлегии, обращавшийся к автографу стихотворения "Опять, народные витии...", выпустил под своей редакцией другое издание: Лермонтов М.Ю. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1954 (изд-во "Правда". Биб-ка "Огонек"). В помещенный в первом томе этого издания на стр. 344–345 основной текст лермонтовского стихотворения он также не включил строки 30–36, не поместив их даже в примечания (Варианты в этом издании вообще отсутствовали).

Совершенно невозможно представить, чтобы филолог такого масштаба, бесконечно влюблённый в Лермонтова и занимавшийся им всю свою жизнь, мог позволить себе зачеркнуть какие бы то ни было строки Лермонтова!..

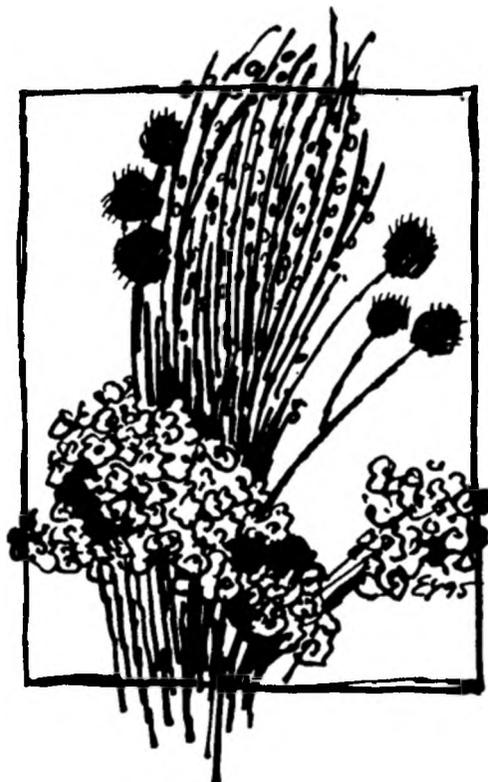
Тем не менее следует учитывать и тот факт, что Б.М. Эйхенбаум в первом томе (1936) выпущенного под его редакцией лермонтовского Полного собрания сочинений в пяти томах на стр. 399 напечатал в стихотворении "Опять, народные витии..." строки 30–36 без всякого объяснения в примечаниях. (Заметим, что во многие примечания к другим

стихотворениям Б.М. Эйхенбаум включал разного рода варианты.) Можно предположить, что строки 30–36 он считал органично связанными со всем текстом стихотворения.

Вопрос о том, что сам Лермонтов зачеркнул эти строки, является сложным и может быть окончательно разрешён лишь при проведении научной экспертизы, то есть изучения автографа стихотворения "Опять, народные витии..." по месту его хранения в Государственном Историческом архиве Москвы.

Что же касается политических взглядов Лермонтова, то он, как и Пушкин, был за просвещённую монархию. Но, несомненно, этот вопрос следует рассматривать в эволюции, то есть иметь в виду, что к 1837 году отношение Лермонтова к Николаю I было уже иным, нежели в предшествующие годы. Это, однако, является предметом совсем другой статьи, нетекстологической.

Л.Н. Назарова,
кандидат филологических наук
Санкт-Петербург



Николай Гумилев
и
акмеистическая ирония

О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук

Одну из своих главных задач акмеисты усматривали в том, чтобы противопоставить себя предшествующей литературной эпохе – эпохе "громких слов" и небывалой экзальтации. "Сразу взяли самую высокую, напряжённую ноту, оглушили себя сами и не использовали голоса как органическую способность развития", – писал позднее Осип Мандельштам, подводя итоги деятельности символистов (Мандельштам О.Э. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 264).

Возможность говорить о сокровенном, избегая излишнего пафоса, акмеисты получили, взглянув на окружающий мир сквозь призму иронии. "Светлая ирония, не подрывающая корней нашей веры, – ирония, которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей, – стала теперь на место той безнадёжной немецкой серьёзности, которую так возлелеяли наши символисты", – утверждал Николай Гумилёв в своей программной статье "Наследие символизма и акмеизм" (Гумилёв Н.С. Соч.: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 17).

"Иронический спектр" был представлен в поэзии акмеистов чрезвычайно широко.

От перенятой у Диккенса и Андерсена мягкой усмешки в стихах Ахматовой:

А мальчик мне сказал, боясь,
Совсем взволнованно и тихо,
Что там живёт большой карась
И с ним большая карасиха.

(*"Цветов и неживых вещей..."*, 1913)

и Мандельштама:

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пёстрая крышка –
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

(*"Морожено!" Солнце. Воздушный бисквит..."*, 1914)

до грубоватого сарказма Владимира Нарбута, чьи строки заставляют вспомнить о гоголевских "Вечерах на хуторе близ Диканьки":

Мясистый нос, обрезком колбасы
нависший на мышастые усы,
проросший жилками (от ражей лени), –
похож был вельми на листок осенний.

(*Портрет*, 1914)

Иронические стихи самого Гумилёва ориентированы на две, во многом противоположные друг другу традиции.

Высокой, романтической традиции Гумилёв следовал, например, создавая свой "Ислам" (1916), вошедший в акмеистическую книгу поэта "Колчан":

В ночном кафе мы молча пили кьянти,
Когда вошёл, спросивши шерри-бренди,
Высокий и седеющий эффенди,
Враг злейший христиан на всём Леванте.

И я ему заметил: "Перестаньте,
Мой друг, презрительного корчить дэнди
В тот час, когда, быть может, по легенде
В зелёный сумрак входит Дамаянги".

Но он, ногою топнув, крикнул: "Бабы!
Вы знаете ль, что чёрный камень Кабы
Поддельным признан был на той неделе?"
Потом вздохнул, задумавшись глубоко,
И прошептал с печалью: "Мыши съели
Три волоска из бороды пророка".

Очевидным прообразом этого стихотворения послужил рассказ Эдгара По "Бон-Бон", в котором к ресторатору Бон-Бону, в "ночное кафе" является дьявол, пьёт с ним вино (уж не то ли самое шерри-бренди, которое упоминается в позднейшем ироническом стихотворении Мандельштама "Я скажу тебе с последней прямокой...?") и ведёт с хозяином кафе метафизические споры. Напомним, что именно о великом американском романтике Гумилёв писал В.Я. Брюсову: "Из поэтов больше всего люблю Эдгара По, которого знаю по переводам Бальмонта и Вас" (Лит. наследство. 1994. Т. 98. Кн. 2. С. 414; об акмеистах и Эдгаре По см. подробнее: Лекманов О.А. Мандельштам и Эдгар По (К теме: "постсимволисты и романтики") // Постсимволизм как явление культуры. М., 1995. С. 39–41).

Через пять страниц после "Ислама" в книге "Колчан" напечатано стихотворение, восходящее совсем к другой традиции. Речь идёт о стихотворении "Почтовый чиновник" (1914), которое в первоначальной публикации имело заглавие "Мотив для гитары":

Ушла... Завяли ветки
Сирени голубой,
И даже чижик в клетке
Заплакал надо мной.

Что пользы, глупый чижик,
Что пользы нам грустить,
Она теперь в Париже,
В Берлине, может быть.

Страшнее страшных пугал
Красивым честный путь,
И нам в наш тихий угол
Беглянки не вернуть.

От Знаменья псаломщик
В цилиндре на боку,
Большой, костлявый, тощий,
Зайдёт попить чайку.

На днях его подруга
Ушла в весёлый дом,
И мы теперь друг друга,
Наверное, поймём.

Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему,
Весь мир необитаем,
Неясен он уму.

А песню вырвет мука,
Так старая она:
"Разлука ты, разлука,
Чужая сторона!"

Н.А. Богомоллов указал, что это стихотворение перекликается с "Телеграфистом" Андрея Белого (Гумилёв Н.С. Указ. соч. Т. 1. С. 522). Однако не менее существенным источником образности стихотворения Гумилёва является стихотворение "сатириконца" Саши Чёрного "Колыбельная (*Для мужского голоса*)", созданное в 1910 году. Оно вошло в книгу Саши Чёрного "Сатиры и лирика", которую Гумилёв рецензировал в пятом номере "Аполлона" за 1912 год:

Мать уехала в Париж...
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Чёрный, гладкий таракан
Важно лезет под ди-ван,
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет! шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый гладок, как Бова,
Новый гладок и богат,
С ним не скучно... Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит,
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Всё на свете трын-трава...
Жили-были два крота,
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи, мой зайчик, спи, мой чиж, –
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...
Кот козу увёз в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернётся... мать...
Сына нового рожать...

Если "Колыбельная" Саши Чёрного в очередной раз варьирует любимый сюжет поэта о пошлой и беспросветной жизни маленького человека, предпоследняя строфа гумилёвского "Почтового чиновника" как бы превращает мещанский "жестокий романс" в монолог нового Гамлета:

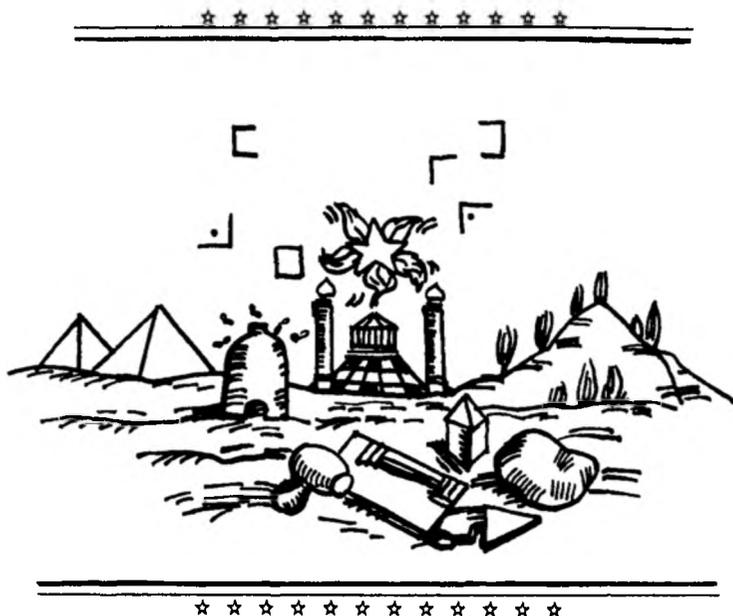
Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему,
Весь мир необитаем,
Неясен он уму.

Ср. в одной из "Александрийских песен" Михаила Кузмина: "Что мы знаем? / Что нам знать?".

"Вечные", волнующие символистов вопросы заданы, но заданы они как бы мимоходом, без нажима и аффектации. Ср., например, со строками из стихотворения Фёдора Сологуба "Больному сердцу любо..." (1896), написанному на ту же тему, что и "Почтовый чиновник" и тем же трёхстопным ямбом:

Кто дал мне землю, воды,
Огонь и небеса,
И не дал мне свободы,
И отнял чудеса?

На прахе охладелом
Былого бытия
Свободою и телом
Томлюсь безумно я.



"Мне было сказано: ...ты будешь подмастерьем..."

· Масонская символика в творчестве М. Волошина

А.А. ШУНЕЙКО,
кандидат филологических наук

*Он водит кисточкой по вкрадчивой бумаге,
Он колет мысль мою концом масонской шпалаги
И клонит над столом изваянный свой лик
Средь масок, словарей, сухих цветов и книг...*

Вс. Рождественский. Коктебельская элегия

Посвящённого в Максимилиане Волошине видели все: и его, и наши современники. Одну из самых пронизательных характеристик поэта оставила Марина Цветаева: "Это был – скрытый мистик, (...) тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик – мало скрытый – зарытый. Никогда ни одного слова через порог его столь щедрых, от избытка сердца глаголящих уст. Из этого заключаю, что он был посвящённый. Эта его сущность, действительно, зарыта вместе с ним. И, может

быть, когда-нибудь там, на коктебельской горе, где он лежит, ещё окажется – неизвестно кем положенная – мантия розенкрейцеров" (Волошин М. Стихотворения. М., 1989. С. 521). Не менее категорично и замечание Сергея Маковского: "...Волошин кажется, в наш немудрый век, не то каким-то последним заблудившимся гностиком-тамплиером, не то какой-то гримасой трагической нашей современности накануне новой, неведомой судьбы..." (Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. С. 323). Поэт Александр Межиров вспоминает, что уже в наше время на могиле Волошина «Из принесённых с берега камней / Пришлец бесстрашный выложил на ней / Бесстрашные слова: "Memento mori"». Девиз "Помни о смерти", устойчиво используемый в масонской традиции, может быть, выложили те самые посвящённые, приход которых предрекала Марина Цветаева?!. А что кроется за этими и им подобными оценками – наблюдательность, догадливость или знание фактов – неважно, главное: они соответствуют действительности.

Максимилиан Волошин был масоном. По "Истории моей души" можно с большой достоверностью восстановить некоторые этапы его масонского становления. В окружении Волошина часто заходили разговоры о масонстве. Один из них состоялся 29 декабря 1904 года с Андреем Белым, который, узнав, что Волошин учился у Павликовского (один из преподавателей Поливановской гимназии), заметил: "Тогда вы должны многое понимать. Это масонское звено" (Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М., 1991. С. 218). Предложение же поступить в ложу было сделано уже в Париже 5 мая 1905 года во время завтрака с М.М. Ковалевским, В.И. Немировичем-Данченко, А.В. Амфитеатовым и В.А. Маклаковым (Там же. С. 223). Важно, что при этом присутствовал М.М. Ковалевский – один из отцов возрождённого в начале XX века русского масонства. Сохранился рисунок Волошина, изображающий М.М. Ковалевского. Вскоре состоялась инициация (то есть посвящение в орден). Своё внутреннее состояние после этого события Волошин описывает так: «Эту радость, эту грусть я теперь боюсь "расплескать", как я делал это много раз зимой. Больше всего я теперь боюсь тумана забвения, который снова может охватить меня. Я запираюсь дома, читаю теософские и масонские книги, пишу стихи. (...) Я чувствую полное обновление и радостное возрождение» (Там же. С. 235; запись от 24 июня 1905 года).

Волошин был активным участником одной из парижских лож: "Вчера в Масонской Ложе я читал свой доклад об России – священное жертвоприношение. Венераль [глава ложи] – Бодэм. Характерное масонское лицо. Бледное, громадный лоб, артрические шишки и морщины, белая борода, чёрные брови и огненная шея" (Там же. С. 241). Запись о посещении Руана отмечена масонским [равно-

сторонним] треугольником, говорящим, что в городе произошло какое-то событие, связанное с масонством. Отъезд из Парижа прекратил непосредственное участие в деятельности ложи, но не прервал размышлений о масонстве: "И я могу сказать вам, что у меня было тоже чувство профанации. Но от него я уходил в иную сторону, путём масонства (?)" (Там же. С. 278).

Внутренняя жизнь Волошина богаче и шире её внешней событийной стороны. Переживания, связанные с оккультизмом, проявлялись по-разному. Склонность к мистицизму выразилась в увлечении хиромантией: при первой встрече с Мариной Цветаевой поэт вполне квалифицированно читал у неё по руке, а позднее посвятил этому стихотворение "Раскрыв ладонь, плечо склонила..." В кокетельском доме проводились спиритические сеансы, обязательные ежедневные медитации и поклонение Солнцу: ежеутренний обряд, совершаемый на плоской крыше. Тайные знания волновали Волошина, что выразилось в его дружбе с Анной Рудольфовной Минцловой – одной из самых загадочных личностей XX века, увлекался он Якобом Бёме и теософией: в стихотворении "Ветер с неба хлопья облак вытер..." комментаторы видят отсылку к понятию кундалини (Волошин М. Избранное. Минск, 1993. С. 439; далее – только стр.). Глава "Космос" из поэмы "Путями Каина" включает каббалистические представления поэта: "Два огненных луча, / Скрестясь в воде, / Сложились в гексаграмму" (Волошин М. "Средоточье всех путей...". М., 1989. С. 175), а глава "Меч" – средневековый рыцарский мистицизм. При составлении "Гороскопа Черубины де Габриа" Волошин надевает на себя маску астролога, состоящего при храме и владеющего правилами царственной науки. Прибавим к этому ещё буддизм, антропософию Рудольфа Штейнера и христианство: одна из его универсальных истин в воспоминаниях "О Н.А. Марксе" была сформулирована так: молиться следует не за жертву, а за палача, так как он принимает основной грех на душу.

Этот перечень, свидетельствующий о поистине титанических устремлениях поэта, его универсальной эрудиции и уникальных мистических прозрениях, важен ещё и потому, что масонский символизм включает в себя элементы разных оккультных проявлений.

Мистическое мироощущение Волошина не ограничивалось самооценкой, а становилось призмой, через которую воспринимались люди, природа и явления культуры. На базальтовых скалах Карадага он видит окаменевшее шестикрылье Херувима (Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 121). Кисти и краски Бенуа поэт воспринимает как циркуль и отвес, при помощи которых художник "не только творит – он исследует и проверяет" (Там же. С. 205). Разговор с Суриковым напоминает ему иногда беседу с визионером (Там же. С. 195). Композиция суриковского "Ермака" превращается в "треугольник, опрокинутый

вершиной вниз" (Волошин М. "Средоточье всех путей..." С. 336). Всё, с чем сталкивается Волошин, расцветивается в мистические тона. Перед нами личность, гармонически сопрягающая эпическое в судьбе и творчестве. Окружающий мир, пройдя сквозь магический кристалл мастера, обретает первозданную многогранность. Компоненты микро- и макрокосма предстают не изолированно, а в средоточии множества связей, взаимодействий и взаимообусловленностей.

В творчестве Волошина отразились разные проявления масонства: от мифологической истории (Тубалкаин, Хирам) – до реальной (тамплиеры, французская революция), от изложения космогонических концепций (каббала) – до конкретных деталей обрядов (инициация), от рассмотрения мистических и оккультных проблем, усложнённого личностным восприятием (венки сонетов LUNARIA) – до общепринятой символики, подчас представленной в зашифрованном виде (свет, круг).

После этого, на наш взгляд, необходимого вступления попытаемся разобраться в поэтической символике посвящённого, построить описание в последовательности: от мистико-мифологического – к реально-историческому.

Тубалкаин. Тексты, содержащие восприятие Волошиным своей мистической и исторической роли, оценку происходящих в России катаклизмов, включают устойчивый ряд символов, связанных с плавкой, ковкой, медью и иными атрибутами кузнечного ремесла. Собственный облик поэту видится в "пламени и дыме" вселенской кузни: «А избранный вдали от битв / Куёт постами меч молитв / И скоро скажет: – "Бес, изыди!"» (108), "Ни молитвой её не проплавить, / Ни любовью не оживить..." (127), "А из тебя, сожжённый мой народ, / Я ныне новый выплавляю род!" (128), "Надо до алмазного закала / Прокалить всю толщу бытия, / Если ж дров в плавильной печи мало, / Господи! вот плоть моя!" (134), "Куёт кузнец золотой венец – / Обруч кованый: / Царство Русское / Собирать, сковать, заклепать / Крепко-накрепко, / Туго-натуго..." (145). Окружающий мир напоминает поэту кузню: "В расплавленном Петрограде..." (129), междоусобная борьба, усобица "На жгучих строится мощах, / В безумных плавится молитвах" (137), "Но посреди ратоборства народов / Властно окликнут с Востока, я был / Брошен в плавильные горны России..." (162). Всё поколение поэта тоже вовлечено в этот процесс: "Мы поняли, что каждый / Есть пленный ангел в дьявольской личине, / В огне застенков выплавили радость..." (135), "Зато в нас есть бродило духа – совесть / И наш великий покаянный дар, / Оплавивший Толстых и Достоевских..." (156). И своих последователей-поэтов Волошин призывает окунуться в ту же стихию: "Горн свой раздуй на горе, в пустынном месте над морем / Человеческих множеств..." (173).

Поэт изображает исполинского кузнеца-плавильщика, наделённого чертами и алхимика, и былинного героя, работающего в кузне мира, куда вовлечено всё человечество, и кузне собственного духа, – равнозначных и равноценных. Кузнеца, пытающегося "пересоздать себя" и переплавить окружающий мир, созидая тем самым новый. Но эти символы никак не соотносятся с людьми "нового типа" послереволюционной эпохи ("Мы кузнецы, и дух наш молод..."). Против этого восстаёт универсальная позиция Волошина, поставившего себя над схваткой, между двух враждующих лагерей (красных и белых), и в то же время переживающего за всех: "А я стою один меж них / В рвущем пламени и дыме / И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других" (131). Да и сама огненная плавка представлена в творчестве поэта в символично-мифологическом смысле: "В начале был единый Океан, / Дымившийся на раскалённом ложе" (Волошин М. "Средоточье всех путей..." С. 149), "А в очаге отстаивались сплавы / Из серебра, из золота, из бронзы: / Гражданский строй, религия, семья" (Там же. С. 151), "И человек сознал себя огнём, / Заклёпанным в темнице тесной плоти" (Там же), "пламя посвященья" обратило "грабителя больших до-рог" в рыцаря (Там же. С. 157).

И тут нужно вспомнить, что Волошин был наделён даром литературной мистификации: он создал едва ли не самую любопытную загадку русской литературы XX века – Черубину де Габриак. Статьи, склонные к литературным мистификациям (а Волошин с предложением мистифицировать литературный процесс обращался и к Марине Цветаевой) – тоже устойчивый элемент масонской традиции. Лучшее подтверждение тому – неухающие споры вокруг "Дон Кихота" и шекспировского наследия.

Черубина де Габриак – литературный псевдоним Елизаветы Ивановны Васильевой (урождённой Дмитриевой), поэтессы, переводчицы, драматурга, придуманный ею вместе с Волошиным, который по этому поводу писал: "В стихах Черубины я играл роль режиссера и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, но писала только Лиля" (Волошин М. Путник по вселенным. С. 217). В подробных комментариях цитата не нуждается, и все же обратим внимание на важную деталь. Последняя оговорка явно противоречит всему предыдущему: как могла писать "только Лиля", если темы и выражения (!) ей подсказывались, а после написания текст подвергался тщательному про-смотру.

Последнюю строфу известного стихотворения "Наш герб" (отметим – не "мой", а "наш"): "Но что дано мне в щит вписать? / Датумы тьмы иль розы храма? / Тубала медную печать / Или акацию Хирама?" (182) правильнее воспринимать как изображение герба Волошина, а не Дмитриевой. Волошин устойчиво возвращается к анализу четверости-

шая, давая нам подсказку: «...не знает, что впишет в золочёное поле своего щита – "Датуры тьмы, иль Розы Храма? Тубала медную печать или акацию Хирама?"; страстной путь сынов Каиновых (...) или священственный путь строителя Соломонова Храма, на могиле которого, как символ "посвящения", выросла акация» (Волошин М. "Средоточье всех путей..." С. 443). Волошину важно, чтобы читатель верно понял его, разглядел в стихах авторский замысел, – этим вызваны многократные комментарии. Разночтения в написании четверостишия тоже показательны: всегда предельно бережно относившийся к чужому слову свои строки поэт переделывал не раз.

В четверостишии о Тубале содержатся отсылки к традиции Розенкрейцеров и к мистическим беседам и путешествиям с Анной Рудольфовной Минцловой. Но для нас существенно следующее: эти стихи раскрывают символику кузни и кузнеца – плавителя металлов. В них названо имя основателя кузнечного ремесла – Тубалкаина. Упоминание о нём в связи с родовым гербом Волошина неслучайно, поэт ощущает себя потомком или, вернее, мистическим последователем Тубалкаина. И это, в свою очередь, объясняет его частые обращения к кузнечной теме.

Тубалкаин не только первый кузнец, он ещё и прародитель архитектора и строителя Соломонова Храма – Хирама (тоже названного в четверостишии), история которого – краеугольный камень масонства: "Существует странная каббалистическая легенда о Хираме, согласно которой он был потомком Самаэля, Духа Огня, а среди его предков был и бессмертный Тубалкаин, изобретатель закалки металлов" (Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992. С. 564). Далее автор пересказывает легенду отливки медной купели, в которой тайно налитая в отливочную форму вода привела к страшному взрыву: «Хотя неудача с величайшим проектом потрясла Хирама, он храбро стоял посреди бушующего пара. Внезапно из кипящей массы раздался голос "Ты несгораем. Отлей себя в пламени". И Хирам прыгнул в Купель и через неё провалился в центр земли, где обитал его огненный предок, первый металлург» (Там же).

"Карманный путешественник по масонству", опубликованный в 1771 году, описывает Хирама как "наиболее умелого, искусного и пытливого работника, какой когда-либо жил и чьи интересы не ограничивались одним строительством, но простирались на все виды работ, будь это работы по золоту, серебру, меди или железу или же работы с тканями, гобеленами или вышивкой" (Там же. С. 269). Тубалкаина и Хирама объединяют не только родственные узы, но и умение общаться с огнём, высочайшее кузнечное мастерство и включённость в масон-

скую традицию. Кроме того, между ними прослеживается глубинная эзотерическая связь, так как "существует достаточное сходство между масонским Хирамом и Кундалини индуистского мистицизма, что позволяет сделать предположение, что Хирам может рассматриваться и как символ Духовного Огня, который движется через шесть узлов спинного столба" (Там же. С. 276).

Все эти фрагменты из легенд содержат характеристики, которыми наделяет себя Волошин в стихах: избранность, погружённость в огненную стихию плавильни, творческое начало настоящего мастера, участие во вселенских катаклизмах. Совсем неслучайная тождественность характеристик, как явствует из описания родового герба, позволяет с уверенностью говорить, что Тубалкаин = Хирам = Волошин – три вершины масонского треугольника, единый образ, части которого взаимноотражаются, демонстрируя нам, кого именно Волошин числит своими предтечами, чью традицию он продолжает, объясняя, в каком смысле следует воспринимать строки: "Чтоб в годы лжи, падений и разрух / В уединенье выплавить свой дух / И выстрадать великое познание" (178), "Россия – мы не будем свидетелями, перегорит в пламени и очистится" (453).

Окончание следует

На возвращение русского мыслителя

Вот, кажется, и прошла мода на первую эмиграцию, на неуёмные восторги и всхлипы, пошлые комплименты и поверхностное знание. Прошла мода – и выяснилось: слишком мало мы знаем об уже умершей Зарубежной России, о делах тех изгнанников, об их днях. Мы – в начале пути, а путь будет долог и труден, и подлинное знание будет собираться по крупницам. Только так удастся когда-нибудь создать настоящую историю невиданного Русского Исхода, историю честную и многолюдную. Именно так – многолюдную, ибо первая русская эмиграция – это не Париж, не Бунин, не Набоков, не две-три газеты плюс "Современные записки", хотя, конечно, и они тоже. История эта писалась в десятках стран, и авторами были миллионы русских людей, выкинутых на чужбину. И ныне нам не дано знать, чей голос, чьё свидетельство важнее: видного литератора или безвестного шофёра, сытого и в эмиграции публициста или нищенствующей учительницы. Скорее всего, важны будут все, каждое по-своему, ибо всякое неповторимо, и только сумма своеобразностей даст в итоге искомую картину, горестную и славную одновременно, свободную от политических и прочих пристрастий, написанную с любовью и гордостью за ушедших соотечественников. И, безусловно, не затеряется на такой картине человек, о котором мы собираемся ныне сказать несколько слов, сказать опять-таки с любовью и гордостью: эти "чувства добрые" вполне им заслужены, выстраданы.

Мы приветствуем посмертное возвращение на родину видного, без преувеличения, выдающегося русского мыслителя Кирилла Иосифовича Зайцева. Могут возразить: это имя мелькало уже в некоторых статьях и ученых комментариях, да и отдельные работы мыслителя напечатаны в России. Да, это так, но думается, что только публикация его статьи "*В сумерках культуры*" означает подлинное возвращение: в ней, в этой статье, весь Кирилл Зайцев, его позиция и взгляд на прошлое и будущее своей страны; кроме того, данная работа – фактический старт подвижнического полувекowego труда К.И. Зайцева в эмиграции и программа такового труда. От этой программы автор не отступил никогда и нигде.

Исподволь надеемся, что теперь свершится правосудие, и автор статьи "*В сумерках культуры*" будет лишён статуса забытого и второстепенного – он, несомненно, представитель первого ряда, цвета первой

эмиграции; да что там эмиграции – Кирилл Иосифович Зайцев по праву принадлежит к числу крупнейших русских мыслителей своего времени. Уверены, что в недалёком будущем, после предания гласности в России множества его статей и книг, такая оценка не будет казаться завышенной.

Он родился в Петербурге в 1887 году. Закончил столичный университет и Политехнический институт. В годы русской катастрофы не задернул шторы своего учёного кабинета, а, напротив, активно участвовал в гражданской войне – ясно, на чьей стороне. После поражения Белого движения вынужденно эмигрировал, жил и работал в Праге и Париже. Сотрудничал во многих периодических изданиях, редактировал (совместно с П.Б. Струве) "Возрождение", а затем – "Россию и Славянство". Позднее, в 1935 году, перебрался в Харбин, где стал профессором политической экономии на Русском Юридическом факультете.

В 1945 году К.И. Зайцев был рукоположен во священники. Следующим этапом на избранном пути стало пострижение – оно произошло в 1949 году, уже после переезда за океан, в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. Бывший профессор был тогда наречён Константином – в память одного из первоучителей славян, Константина-Кирилла. Вся его дальнейшая деятельность – подвиг служения Церкви и России на ниве научной, проповеднической и издательской. Архимандрит Константин редактировал журнал "Православная Русь", написал множество глубоких трудов, вёл, помимо прочего, неустанную преподавательскую работу: был профессором пастырского богословия и русской литературы в Свято-Троицкой семинарии.

И так продолжалось до последнего земного часа – до 26 ноября 1975 года...

А статья "В сумерках культуры" была написана Кириллом Зайцевым в 1920 году, ещё в России, накануне изгнания. И не только написана, но даже набрана – она должна была войти в сборник "Русская культура", который планировалось издать в Симферополе. Но сборник не состоялся – как не состоялось тогда многое из того, на что надеялись истинные патриоты России. Так, с гранками, К.И. Зайцев и покинул родные пределы. Через год в Софии вышел первый том (№ 1–2) журнала "Русская мысль", и статья мыслителя стала украшением издания.

Прочтём её, наконец, и мы; прочтём и отдадим должное и автору, и его детищу – блистательному, умному, актуальному очерку о великих русских тенях.

М.Д. Филин

К. ЗАЙЦЕВ

В сумерках культуры

Культура, русская культура. Чем-то далёким и прекрасным веет от этих слов.

Правда, мы сейчас унижены и загнаны, – беженцы*, выброшенные из привычного уклада жизни, поглощённые мыслью об удовлетворении первичных потребностей человеческого тела; – но пусть огрубели и очерствели в многолетней военной обстановке наши сердца, пусть привычная жестокость гражданской смуты опустошила и исказила наши души; пусть гнёт повседневности притупил в нас чувство прекрасного и истинного, и мы отвыкли от переживаний творчества, от науки, искусства; пусть дух разрушения ещё витает над нами, властвует над нашими думами – и всё же у кого из нас не дрогнет что-то там, внутри, в святая святых нашего сознания при звуке этих слов.

Сквозь тусклый безразличный туман надоевшего однообразия ежедневных будней, в далёком, казалось, уже заглохшем тайнике души, внезапно затеплился и встрепенулся полузатухший уголёк воспоминаний; сквозь немолчный ропот притупляющих и иступляющих житейских забот зазвучат ещё неясным и невнятным, но ласкающим, манящим призывом какие-то, казалось, навсегда умолкшие дорогие голоса; сквозь опустившуюся на нас тяжёлую дремоту, через, казалось, непроницаемую завесу пережитого забрежжат ещё далёкие, ещё смутные, но близящиеся, тянущиеся к нам родные тени. Точно орошённые живительной влагой лепестки смятого цветка, расправляются под брызгами воспоминаний встрепенувшиеся душевные силы. Ещё мгновение, и ушла куда-то гнетущая современность, ясным сосредоточенным огнём загораются глаза, расходятся привычные морщины, расправляются застарелые, тяжёлые складки волнений и скорби. Вы – наедине с собой и с прошлым, таким недавним и уже безвозвратным.

С той остротой внутреннего зрения, с какой перед лицом смерти развёртывается в одно мгновение прожитая жизнь, – перед нами, переступившими некую роковую черту, в какой-то новой целостной картине воскресает былое. Отражённым ровным светом озарено оно, отчётливо вырисовывается рисунок, спокойно ложатся свет и тени. Своя и точно

* В публикации, в основном, сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации.

чужая жизнь, или, лучше сказать, своя жизнь, но пережитая в ином воплощении. Вы зритель, и вы же участник; перед вами встают образы как бы из другого мира, но, вместе с тем, вы знаете, что это вы же сами, вы чувствуете это до боли, до слёз. Если бы снова, действительно, вернулся, воскрес этот мир! Сколько недосказанных слов, недопетых песен, недодуманных мыслей, невоспринятых красот, сколько начатого и недоконченного. Как перед полусказочным Пер Гюнтом, прошлое встаёт во всей его непоправимости, с тем различием, что ушла не ваша отдельная личная жизнь, а ушла какая-то общая жизнь, ушла эпоха, ушла культура, ваша, родная вам, близкая, со всей её неизъяснимой, неповторяемой красотой.

Сколько уродливости и мрака таила в себе прежняя русская жизнь, какой паутиной пошлости она была окутана, сколько вражды и злобы вносили мы в неё, но ушли куда-то вдаль чёрные тени, не кипит больше злоба, не бурлит раздражённая желчь; спокойно смотрим мы на былые споры и распри. Мелкими и случайными кажутся они нам теперь, перед громадностью совершившегося. С улыбкойзираем мы на них: кто "с улыбкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом", кто с усмешкой безразличия, а кто – с той тихой, ясной, прощающей улыбкой, которая является сияющим отражением подлинного, великого, преображающего душу страдания. Над братской могилой Российской Империи потухли прежние страсти, и пред мятущейся стихией встревоженного хаоса померкли прежние бури. Не их ищет душа, смятённая и усталая. Она ищет покоя и отдыха, она тянется к красоте, она жаждет живительного прикосновения к ней, стремится перед ней забыться в немом благоговении хотя бы мгновенного созерцания.

И образ за образом встают великие тени.

Вздывается величественный Петербург, художественное воплощение Императорской России, прямолинейный и холодный её властелин. Окутанный дрожащей золотистой мглой улетающих туманов, уносящийся неясными очертаниями в смутную, сливающуюся даль, напоённый какой-то призрачной фантастической красотой, жутким маревом высится Петербург над ушедшей Россией. На костях десятков тысяч безгласных строителей, чудом непреклонной воли царственного зодчего вознесся Петербург "из тьмы лесов, из топи блат", и вот, год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком, повинувшись завету непобедимого владыки, несла Россия на величавый гранитный алтарь великодержавия свои лучшие силы, отдавая их в жертву богу европейской культуры. Проклятия и благословения несутся к нему из глубин подвластной ему шестой части света; то гордостью и любовью, то трепетным смятением и бурной ненавистью горят сердца подневольных ему миллионов, – бесстрашный и непреклонный, как судьба, стоит каменный исполин, и нерушим зарок, давший ему господство над за-

чарованной Россией. Но раздастся, наконец, заветное слово свободы, падут гранитные оковы, разожмутся каменные объятия, рушатся дивные чары; проснётся и всколыхнётся заворожённая страна, и, под напором взметнувшихся сил выросшего великана, разлетятся в осколки обратившиеся в темничную ограду мёртвые стены. Настанет роковой день освобождения: "Петербургу быть пусто".

И день настал, давно всеми жданный, одними со страхом, другими с надеждой, предопределённый всем прошлым, неотвратимый, как приговор, и всё же внезапный, даже незамеченный в своём появлении, сознанный лишь в беспредельном ужасе свершившегося.

Выдержала Россия тяжёлую руку мятежного царя, взнуздавшего её первобытную волю, вынеслась с ним из глубин Азии на порог Европы. Острым взором гениального дикаря окинули мы все красоты многовекового европейского мира, постигли его сущность, проникли в его тайны, освоились в нём, как дома, полюбили, как вторую родину:

Нам внятно всё, и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...
Мы помним всё – парижских улиц ад,
И венецианские прохлады,
Лимонных рошь далёкий аромат
И Кёльна дымные громады...

Но что же, перешагнули мы окончательно грань, отделяющую Европу от Азии, влились полностью в европейское море, срослись органически с европейской жизнью?

Бесспоротен разрыв с прежним берегом, но пристали ли мы к новому? Нет. Мы ни Азия, ни Европа, полу-Азия, полу-Европа, "не принадлежим ни к западу, ни к востоку, не имеем преданий ни того, ни другого", живём без исторических воспоминаний, без уважения к прошлому, без ясного ощущения путей будущего; имеем две родины и ни одной, стоим разделённые, обращённые друг к другу хребтами: "овии же зрят к востоку, овии же к западу"; в высших проявлениях культурного быта – достойные сыны Европы, равняющиеся с ней, опережающие ее, а массовой повседневной жизнью погружённые в кость: по уши в грязи, сидим с глазами, обращёнными к небу.

И на западе ли это небо? Бесконечно дорога и близка нам Европа, но не кладбище ли это дорогих нам покойников? И почему нам так претят мещанские будни европейской цивилизации? Потому ли, что мы дикари, постигающие культуру, но не вошедшие в неё, или потому, что уже отлетел дух живой от старого мира и, для нас, вольных сынов первобытных степей, чуждым, мёртвенным ужасом веет от его роскошного, но уже тронутого тлением тела?

Не исторический ли удел России – "её отрешение от всех связей разом: от религии, от преданий, от авторитета"? Не кроется ли глу-

бокий внутренний смысл в задержавшемся своеобразии исконных форм русского хозяйственного строя и в том сокровенном родстве, которое связывает наш примитивный деревенский коллективизм с социалистической религией западноевропейского пролетариата? И не наступит ли день, когда перекликнется, наконец, русский мужик с европейским пролетарием, наполняя ужасом буржуазный мир, когда сольются запад и восток в грозном кличе: "да здравствует смерть и да воцарится будущее"? Страшный дух разрушения заключён в недрах русской жизни, но не таится ли в нём великая интуиция грядущего созидющего духа, и не в том ли мессианский удел России, чтобы возвестить миру эту новую жизнь? Кто мы, безнадежно отсталые ученики, в лихорадочном рвении догоняющие своих учителей, или творцы новой эпохи, открывающейся на смену гниющей, умершей цивилизации? Кто мы? Азиаты, робко стучащиеся в двери Европы, или народ будущего, поглощающий Европу, будь то, в творческом акте вселенского миропонимания народа-богоносца, будь то, в разрушительном акте скифского нашествия, во имя нарождающейся новой жизни?

В этих колебаниях между самоуничижением робкого ученика и самоуничижением владыки будущего мятётся русская мысль. Где истина? С напряжённой, страстной тревогой вглядываются выразители русской общественной мысли в знакомые, дорогие, близкие и, одновременно, чуждые и непроницаемые черты породившего их народа, вслушиваются в глухой, немолчный сливающийся гул многомиллионной стихии. Но русский народ – Сфинкс не только для Европы, но и для породившейся с нею русской интеллигенции. Без ответа остаются обращённые к нему вопросы: народ молчит. Жуть охватывает от этого молчания. Неужели нет жертвы, способной искупить неповинный грех взаимного непонимания? Неужели непоправимо, навеки оборваны нити, связующие интеллигенцию с народом, и осуждена на увядание лишённая корней интеллигенция, и обречён на вековое варварство лишённый органов мысли и слова народ? Ведь на всякую жертву готова самоотверженная русская интеллигенция, вплоть до самоотрицания, вплоть до самоистребления. Ибо, как можно понять аскетическое опрощение русской интеллигенции и отшельническое хождение её в народ, если не признать здесь отказа от себя, от вскормившей её культуры, во имя единения с народом, и как можно понять и простить революционный лафос русской интеллигенции, если не видеть в нём фанатического обряда самосожжения.

Но бесплодны все жертвы. Народ безмолвствует, непроницаем его затуманенный лик. Бесповоротно разошлись пути, лишь близится и ширится бездна, разворающаяся между народом и его интеллигенцией, и, кажется, ничем уже не заполнить этого зияющего провала, хотя бы ценой обращения в обломки и развалины всего, веками созданного на русской земле.

Одинокой, отверженной, ещё страшной, но уже обессиленной громадой высится Петербург, чуждый до невероятия, до неправдоподобия русскому народу, близкий до неразрывности, до боли, до ненависти русской интеллигенции. Отлетел от Петербурга дух творящей воли, вызвавший его из-под земли, потускнел взлетающий силуэт "Медного Всадника"; не символом жизни и победы, а надгробным изваянием царит он над Невой, и, как знамение безнадежности замирающей борьбы, виднеется грузная, осевшая, мешковатая фигура царственного потомка Великого Петра. И он, как "Медный Всадник" – перед пропастью, но не вперёд в дерзновенном вдохновении несётся он: он пытается осадить назад, попятить коня, удержать его и удержаться с ним на краю раскрывающейся пучины. Напрасно, нет пути назад в судьбах великого народа, и обречён на гибель всадник, заколебавшийся над пропастью. Пробил час Петербурга, свершился неисповедимый суд истории. Уже не гордый властелин пред нами, не живая глава живой могущественной державы, а умолкший, опустевший, заросший мхом памятник, величавый памятник великой ушедшей эпохи.

Петербург – памятник старины, не "старый Петербург", а наш Петербург! Не "старые годы", а наши годы – ушедшая эпоха. Странно писать эти строки, страшно прочесть написанное. Мы – и история. Современность, омертвевшая в исторической законченности, оставшаяся позади нас, за какой-то глубокой, непреходимой межой. Трагический жребий выпал нам: жить и сгореть на грани двух эпох, отделённых не длительным процессом перевоплощения, а стихийным обвалом. Да и что это – эпоха русской истории или истории мира? Причудливо переплелись судьбы нашей родины с явлениями космического порядка, и в грандиозной картине крушения то и дело мелькают черты, знаменующие сдвиги в самых глубинах человеческого духа. Нам, наблюдателям мозаичных частиц этой исполинской картины, не дано разглядеть зародышей будущего в разложившейся современности, и под гнётом и бременем мучительных вопросов и сомнений душа ищет отдыха и успокоения в прошлом, ищет забвения настоящего в воспоминаниях прошлого.

И, образ за образом, встают опять великие тени.

Лучезарный Пушкин – "наше всё", воплотивший в себе всю многогранность русской действительности и, в акте творческого преобразования, возведший её в перл создания; всё понявший и всё простивший в русской жизни, совлекший с неё покров будничной пошлости и показавший нам в художественном освещении и сокровенные её тайны. После Пушкина нет места унынию, нет места неверию в Россию. Пушкин не доказал, а открыл и показал такую красоту русской души, такое величие простой русской жизни, такое богатство духовных сил её, что в явлении Пушкина находит своё оправдание и высшее прими

рение вся русская действительность. Много горьких упрёков можно предъявить русской жизни, много жестоких и тягостных истин можно сказать о ней: недаром, такой безысходной тоской веет от многих лучших страниц нашей литературы и такой мрачный ужас обвеивает многие эпизоды нашей истории. Но пусть соберутся самые строгие и неподкупные судьи. Пусть пред ними, во всей неприкрашенной действительности, развернётся обвинительный акт русского прошлого, пусть свидетелями выступят лучшие изобразители русской обывательской пошлости, пусть из гробов укоризненным хором прозвучат все умолкшие голоса обличителей России, – достаточно вызвать образ Пушкина, чтобы замерло на устах присяжных готовое сорваться неоправимое слово приговора и, как греческие судьи умолкли в художественном восторге пред обнажённой Фриной, так и судьи русской жизни молчаливо склонятся, поражённые откровением поэзии Пушкина. Нет судей, которые сочли бы себя полномочными произнести приговор над народом, который "под гнётом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил, через сто лет, громадным явлением Пушкина".

Олицетворение вселенской человеческой души в русском её выявлении, Пушкин, подобно светозарному солнцу, ярко горящему собственным, ему присущим, внутренним огнём, озаряет живительной силой своего света всё окружающее. Достаточно проникнуть его чудотворному лучу – и пышными красками расцветает природа, исчезают мрачные, уродливые тени, озарённая светом красоты, во всей своей величавой простоте, раскрывается правда жизни. Вплоть до наших тусклых дней доходят эти освещающие и согревающие мрак лучи, в каждом подлинном творческом, художественном проявлении русского гения сияет их отблеск, живёт частица Пушкина; каждое оброненное им слово немолчным эхом катится вслед сменяющимся поколениям, вливая в них новые силы, не давая уснуть здоровому чувству национального самосознания.

Рескин говорил, что современный человек является таким же памятником человеческого творчества, как, например, египетская пирамида. Неисчислимы жертвы, ценою коих воздвигнут этот памятник, и огромна нравственная ответственность, лежащая на нём за принесённые для его создания жертвы. Таким величайшим памятником русской культуры, величайшим её достижением и, вместе, величайшим оправданием русской жизни, всех неисчислимых её жертв – является Пушкин. Ярким светом будет озарять он Россию, пока она есть, и неугасаемой лампадой будет мерцать он в глубине веков, пред потускневшим, но чистым её ликом, пока существует человечество.

Пушкин величайший и единственный, а сколько за ним великих!

Лермонтов, поэт грусти по небесным звукам, с душой, сотканной из

тончайшего эфира, из надмирной музыки, – тихим ангелом проскользнул он по нашему небосводу, обронив на землю несколько песен, возносящихся к звёздам, обвеянных мистической молитвенной красотой, и унес с собой в раннюю могилу какую-то неизреченную тайну.

Как далёк Лермонтов от своего западного собрата! Какое сочетание внешнего сходства и внутреннего различия! Мятущийся Байрон, то элегантно драпирующийся в плащ своего Чайльд-Гарольда, надменно кокетничающий с чёртом, то в сатанинской гордыне, вызывающий на единоборство Бога и, в тоскливом отчаянии одиночества и всеотрицания, взывающий к мёртвому, исцеляющему забвению, то сдким смехом разражающийся над бедным, презренным человечеством. Все эти мотивы не чужды Лермонтову, но все они растворяются в сиянии детской, бесхитростной веры, в непосредственной подлинной близости к самым истокам души народной.

И с глубоким, правдивым чувством мог сказать о себе Лермонтов:

Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Рядом с солнечным образом Пушкина и лунно-светлой грустью Лермонтова, темнеющим контрастом выделяется скорбно-загадочный силуэт Гоголя.

Мягкой жизнерадостностью, свежим лёгким юмором, ароматным бодрящим дуновением роскошных украинских степей, наивной народной сказочностью, упоением молодости и красоты наполнены произведения пасечника Рудого Панька. Спокойным сознанием народной мощи, безоблачной целостностью художественного настроения, ровным чувством душевного мира, захватывающей лихостью и юношеским задором проникнута национальная поэма "Тарас Бульба". Но стоит Гоголю обратиться к изображению окружавшей его среды, к бытописанию современного ему общества – и мгновенно, под бременем безысходных внутренних противоречий и непоправимого душевного надлома, искажаются прекрасные черты великого художника. Правда, не умолкает смех, знаменитый гоголевский смех; напротив, ещё звонче и отчётливее раздаётся он, заражая нас, подчиняя своей силе. Очарованные, с ослабленным увлечением следите вы за похождениями нашего героя – и улыбка не сходит с ваших уст. Но вдруг, неожиданно для вас самих, точно под впечатлением внезапного озарения, тревожная непреодолимая тоска овладевает всем вашим существом: "над собой смеётесь". И неподвижной, беспомощной гримасой застывает блуждавшая на устах ваших весёлая улыбка, в беспокойном смятении озираетесь вы кругом и вперяете пытливым, полный вопрошающей надежды взгляд в изме-

нившиеся черты гениального чародея. Но вместо ясного, искрящегося радостным смехом, сочувствующего вам встречного взгляда, вы ощущаете на себе тяжёлый, пронизывающий, насмешливый взгляд. И стыдно и больно делается вам за исторгнутый у вас смех: сами вы осмеяны, как частица окружающей, охватывающей вас повседневности. Под негодующими ударами кисти раздражённого художника пошлость жизни приобретает какую-то фантастическую убедительность. Вы подавлены ею, вы готовы верить изображению больше, чем самой жизни. Слабы и бессильны попытки художника утешить вас, показав светлые лица; это пустые пятна, лишённые красок и контуров, носящие одни лишь заглавия: сам автор не верит в них. Беспощадным приговором падает на жизнь бичующий смех.

Это не смех сквозь слёзы, это не робкая улыбка возвращающейся радости жизни, брызжащая сквозь расходящуюся тьму душевной скорби, не луч вечного солнца, пробивающийся сквозь затянувшую небосклон грозовую тучу, не символ победы света над мраком. Нет, это смех, сменивший слёзы, иссохшие под палящим зноем внутреннего огня, смех безысходной тоски и непрощающего укора. Лишь мгновениями одинокая слеза блеснёт на гневно прищуренных ресницах великого писателя, яркой мимолётной зарницей открывая беспредельную силу любви, тащущую в его душе. Но тут же потухает согревший было вас отблеск надежды, снова звенит в ушах бичующий смех. И нужен великий источник света, озаряющий жизнь, чтобы падающая от творений Гоголя тень не застлала нашего сознания мертвящей мглой, нужна неиссякаемая вера в жизнь, в её добро и красоту, чтобы не усомниться в жизни, одним словом, нужно иметь Пушкина, чтобы преодолеть Гоголя, и не только преодолеть, а понять, оценить и глубоко полюбить его скорбный, трагический лик. Сам Гоголь не преодолел себя, застрявшие в его горле слёзы задушили его, и он пал жертвой бушевавшего в его сердце огня обличения, одинокий, оскорблённый, покинутый.

За Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем тянется длинной вереницей плеяда их современников и преемников – Грибоедов, Писемский и Гончаров, Белинский и Аполлон Григорьев, Алексей Толстой и Фет, Чаадаев и Герцен, Хомяков и Владимир Соловьев... Каждое имя вызывает тысячу переживаний. А проникновенный Тютчев, вещий мудрец, подслушавший тайны мироздания. А неподражаемый, ещё не оценённый по достоинству Лесков, давший изумительные образцы исторически-правдивого художественного знания. "Совершенно человека видит и сердце его любит, кто любит мысли его". Таким совершенным, проникнутым любовью, знанием русского народа обладал Лесков, и только глубоким невежеством нашим, той "пагубной роскошью полупознания", которая отвращала нас от истинного знания, можно объяснить, что Лесков донине не является любимой книгой

культурного русского человека. С такой лёгкостью бросаем мы камнем в целые сословия, поколения, десятилетия, – и самонительно чуждаемся правдивых источников, раскрывающих пред нами в художественном изображении ушедшую старину. Но сила гения берёт своё. Лесков переживёт многих обогнавших его в популярности писателей.

Женственный, впечатлительный Тургенев, несравненный повествователь и рассказчик, верный летописец сменяющихся настроений современных ему поколений русской общественности, поэт помещицкого уклада жизни, славянский колосс, впервые дружески вошедший в семью западноевропейской литературы и приоткрывший пред лучшими её представителями сокровища русской художественной мысли. Каким далёким и отжившим кажется нам теперь Тургенев. Это – дорогая нам по юношеским воспоминаниям ветка сирени, почти засохшая, но не утратившая свой чарующий аромат, бережно хранимая нами среди реликвий нашего сердца.

Но вот встают два новых образа и заполняют собою всё, вытесняют все иные воспоминания, властно воцаряясь в нашем сознании, Толстой и Достоевский!

Толстой огромен и безбрежен, как русская равнина, исполнен такой беспредельной мощи, что, кажется, нет задачи, для него непосильной. В горделивом размахе берёт он героем романа великий народ... В широкой, как сама жизнь, панораме развёртывается пред нами величайший, героический период нашей эпохи; воскрешённая чудом исторической интуиции стоит перед нами, как живая, Россия двенадцатого года, озарённая светом творческой правды, преображённая в законченные художественные образы, облечённая в рамку недостижимого внешнего мастерства. Величавый эпос, поведанный миру не в стихийном полусознательном процессе народной поэзии, а созданный сознательной творческой волей отдельной личности.

Явление, не знающее себе равного в летописях мировой литературы!

Точно дух народный сошёл на полумифического гиганта слова и глаголет его устами, раскрывая нам в бесхитроном повествовании свою многообразную сущность. Это полное слияние личности автора с творимыми им образами составляет основную черту творчества Толстого. Когда в Толстом говорит художник – личность его уничтожается, поглощается в процессе творчества, растворяется в создаваемых им образах. Вы не чувствуете волевого усилия творящей личности, не видите мастера – вы точно присутствуете при самозарождении художественных образов, при органическом росте их. Хорош ли язык Толстого? Вы должны сделать усилие памяти, чтобы вспомнить, какой язык у автора "Войны и мира". Бывало ли у вас при чтении Толстого, чтобы вы останавливались в восхищении с восклицанием: какой чудный язык! Нет. Вы просто не замечали языка, вы воспринимали, не уделяя

особого внимания органу восприятия. Жизненны ли характеры? Станный вопрос. Ведь не спрашивают же вас, жизненны ли характеры ваших знакомых, ваших близких, с которыми вы сроднились. Жизненны ли описания природы, обстановки? Но ведь вы видели эту обстановку, эту природу. Когда вам что-либо воочию показывают, то странно было бы спрашивать: похоже ли это на действительность. Это было бы столь же нелепо, как восклицание одного из героев Гейне, который, любуясь природой, в похвалу ей воскликнул: да, это совсем как нарисовано. Действительно, неужели вы решитесь утверждать, что вы не присутствовали с Анной и Вронским на скачках, когда так обидно погибла милая, бедная Фру-Фру, или, что вас не было с Наташей на охоте, когда вы потом заезжали к дядюшке "чистое дело марш", что вы не видали никогда ушей Каренина и волосатых рук Долохова, не подсматривали как растирали одеколоном жирную шею Наполеона, не встречались и не болтали со Стивой Облонским. Или может быть вы скажете, что вы остались не тронуты любовной девичьей обстановкой дома Ростовых, что вы не слышали пения Наташи, что вы не были влюблены в неё вместе с Васькой Денисовым и князем Андреем и что – немного совестно сознаться – вы не почувствовали некоторого разочарования, когда узнали о браке Наташи с Пьером, об её увлечении детскими пелёнками и прозой семейной жизни. Да если бы собрались все мудрецы мира и стали бы доказывать вам, что этого ничего не было, что этого не могло быть – вы бы пожали плечами и усмехнулись. Такова подавляющая сила художественной правды Толстого.

В этой слиянности Толстого с природой и жизнью тайна его неподражаемого реализма; он не описывает природу и жизнь, а природа и жизнь открываются в нём. Все условные людские оценки как-то отскакивают от Толстого-художника. Нелепо было бы говорить о цинизме или морализме Толстого-художника, как нелепо говорить о цинизме или морализме природы, с которой Толстой-художник так неразрывно, органически связан. Что-то стихийное, космическое в его творчестве, напoбнном художественным пантеизмом.

Таков Толстой – художник, в своей первобытной наивности.

Но вот постепенно, в поисках правды и справедливости у Толстого возникает вопрос: такой ли должна быть жизнь, какой она есть и какой она изображена в его произведениях? Он не полагается больше на чувство художественной правды, в нём заложенное, на своё сердце; он апеллирует к практическому разуму, он строит свой моральный кодекс жизни. Пусть сердце не соглашается с разумом – тем хуже для сердца; пусть жизнь не укладывается в уготовленное ей ложе – тем хуже для жизни. Он зовет её на суд, смело бросает в неё камень. Забыт великий, им самим провозглашенный эпитаф: *Мне отмщение и Аз воздам*. Вместо любвособильного поэта, вмещающего в своем сердце весь свет-

лый Божий мир, мы видим строгого судию, облечённого в гордыню внешнего уничтожения. Грозные слова укоризны несутся с его обличающих уст. Всё или ничего! Культура не отвечает требованиям сурового пуританизма: долой культуру, во имя достижения нравственного совершенства! Толстой-моралист и Толстой-художник, механически уживавшиеся до поры до времени на соседних страницах, вступают в борьбу, переходящую постепенно в смертельный бой. Торжествуя победу, Толстой-моралист метит Толстому-художнику, развивая невиданную силу нигилистического разрушения; в негодовании готов он разбить в прах вещи скрижали, на которых им же самим начертано, силой вложенного в него гения, божественное изображение природы.

Но "утасная мысль наших бездна и глубокое сердце есть одно и то же – человек есть сердце". Напрасны попытки Толстого уйти от себя, от собственного сердца; они кончаются грандиозным крушением.

Не зная неудачи в своих достижениях, в титаническом порыве схватился Толстой, подобно Святогору-богатырю, за небольшую суму, содержащую в себе силу земли, и хотел поднять её до себя, эту падшую безнравственную землю. Но вросла сума и бессильную плетью висит могучая рука богатыря, а сам он ушёл по колена в сырую землю. Он хотел поднять землю к небу, и сам погряз в ней; человеческим, слишком человеческим оказался он сам в своих счётах с жизнью. В поисках Бога он отверг жизнь – и Бог покинул его. Не может сказать он, подобно своему великому праотцу, мирскому отшельнику Сквороде: мир ловил меня, но не поймал. Напротив, опутан он, надменный книжник, нитями земли. Лишь пред лицом смерти сознал он кощунственность своей гордыни, с ужасом почувствовал, что он не с Богом, и Бог не с ним. В сердечном трепете бежит смирившийся великий старец от обличающих его стен и в давно утраченном, а может быть впервые обретенном подлинном молитвенном вдохновении падает он ниц пред найденным Богом: верую Господи, помоги моему неверию.

Смирился гордый человек, исполнил в преддверии смерти пророческий завет Достоевского.

Достоевский является удивительной противоположностью Толстого. Если в Толстом художник и мыслитель находятся в непримиримом противоречии, то в Достоевском они напротив связаны неразрывно. Достоевский мыслит образами. Его художественный талант есть лишь сила внутреннего самоуглубления и сила проникновения в сокровенные тайны человеческого духа. Если Толстой – оживленная природа, то Достоевский – воплотившийся дух. Его произведения почти не имеют телесной формы; его черты облечены плотью лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы они были живыми существами; внешняя обстановка допускается лишь, поскольку нельзя обойтись без времени и пространства; события связаны единством действия и правдоподобием,

поскольку это необходимо, чтобы фабула не превратилась в фантазмагорию. Это не объективирование жизни в художественном произведении её, а осуществление экспериментов над человеческими душами при посредстве художественного творчества. Внешняя искусственность, стоящая на границе правдоподобия, сочетается с потрясающей внутренней правдой. Пусть этого не было, пусть это невероятно, но это неразрывно связано с духовным существом современного человека, а потому это возможно. Более того, раз это вытекает из сущности современного человека, то пусть этого не было и пусть это невероятно, но это должно быть и это будет. Вот в чем основа пророческого дара Достоевского. Духовные прозрения превращаются под его пером в художественные реальности.

Душа человеческая – единственная тема творчества Достоевского. "Почто дивились высотам звездным и морским глубинам", – вопрошал Св. Исидор. "Взгляни в бездну сердца твоего. Тут-то дивися, аще имаша очи". И Достоевский отвращает свой взор от внешнего мира, и вперяет его в душу человеческую, измеряя её глубины и высоты.

Как художественное раскрытие души современного человечества, его произведения – памятник единственный и неповторяемый.

Представьте себе, что рушился мир, и что единственным памятником от погребённой культуры остался Достоевский. Этого довольно. Лицо эпохи сохранится; в творениях Достоевского черты этого лица запечатлены неизгладимыми письменами. С большим правом, чем кто-либо, с большим правом даже, чем Ницше, может сказать о себе Достоевский: "Я пишу кровью". Оба певцы страдания, один художник-мыслитель, другой мыслитель-поэт, оба проникнуты исключительным религиозным пафосом, оба сгоревшие в огне религиозных исканий – ярко вспыхнувшими факелами освещают они сгущающиеся сумерки европейской культуры. Но насколько полнее, глубже, целостнее личность Достоевского! Ницше – это вопль отчаяния современного человечества, почувствовавшего себя бесповоротно покинутым Богом; это песнь умирающего лебедя, убитого тоской по ушедшему Богу. Вначале Ницше пытается в музыке найти выражение своему лишенному выхода религиозному чувству. Музыка – это вселенский язык, которым душа с душою говорит. Это отзвук известной гармонии, роднящей человечество. Это отблеск божественного огня, зажжённого в человеческих сердцах лучами какого-то единого вечного солнца. Музыка даёт нам непосредственное непрерываемое ощущение нашей духовности. Но она, создавая религиозное настроение, обвевая нас неясными неотмирными светлыми мечтами, не даёт главного, основного: веры, чувства личного живого Бога. Этого не дала музыка и Ницше. Не утолив своей духовной жажды, но утратив восприятие христианского Бога, Ницше, со всей страстностью своей натуры, со всем

напряжением огромного поэтического гения, всю силу религиозного творчества сосредоточил на заложенных в человеке духовных потенциях. Пусть ушёл Бог, ему на смену человечество создаст преемника из себя, по образу своему и подобию; на место Богочеловека поставит Человекобога.

Верил ли Ницше в свою Веру? Нет; трагическая судьба его служит тому порукой. Только формалисты буквоеды могут считать Ницше атеистом; за кощунственными словами гениального поэта слышится огненное, палящее влечение к Богу. Ещё, кажется, мгновение, – и раскроются небеса пред иступлённою тоской безумствующего страдальца, снизойдет благодать на его скорбную голову, преобразится гордый, брошенный Богу вызов в тёплую молитву. Но не дано было Ницше на земле этого высшего счастья: он остался воплощением воинствующего человекобожия и пал его жертвой.

Трагедия Ницше близка Достоевскому, но не как его личная трагедия, а как художественное перевоплощение, как одна лишь грань его художественного творчества. С меньшей глубиной и остротой Достоевский проник и в другую форму человекобожия, в коллективистическом его варианте – именно социализм. С невиданной силой вскрыл он его атеистическую подпочву, его звериную насильственную природу, его внутреннее варварство. Наконец, Достоевский берёт наиболее утончённую форму атеизма, вооруженного всеми внешними атрибутами церковной религии: чудом, тайной и авторитетом. В потрясающей картине обнажает автор *Легенды о Великом Инквизиторе* скрывающееся за этими величавыми орнаментами сатанинское лицо.

Сорвав все покровы с современной цивилизации, Достоевский ставит нас лицом к лицу с Богом, ведёт нас к Богу.

Чтение Достоевского не занимательная лектура и даже не художественное наслаждение; это – подвиг самоуглубления и самопознания в образе художественной всенародной исповеди. Вы можете отмахнуться от "жесточкого таланта" Достоевского, но если вы попали под его обаяние – это эпоха вашей жизни. Испаряется, как дым, наркотика изошрённых форм внешней культурности, оглушающая обычно ваши чувства, исчезают миражи маленьких, заполняющих вашу жизнь целей, загромождающие широту горизонтов, отбрасывается всяческая суета, развлекающая ваше внимание: во весь свой грозный рост встают перед вами вечные вопросы, облечённые в форму художественного восприятия. Одна за одной спадают личины внешнего благополучия с общественных и личных проблем, только что казавшихся вам разрешёнными или разрешимыми. При этом Достоевский не посыпает пеплом главу, не громит современное ему общество, не диктует ему практических рецептов, долженствующих вывести его на правильный

путь; нет, он остается художником; он показывает нам человеческие страдания во всех их многообразных проявлениях, заставляет силой своего творческого гения ощутить эти страдания во всей их непосредственности, и в тот момент, когда мы потрясены до глубины души, когда мы почти не в силах переносить более напряжения наших переживаний, он ставит перед нами вопрос: может ли человек вынести эти страдания, даже допустить их существование, согретый одними лишь человеческими мыслями, как бы высоки они ни были; принимает ли душа эти страдания? С непередаваемым пафосом раскрывает нам Достоевский всевозможные человеческие решения, излагая их с таким пламенным красноречием, с такой художественной силой, углубляя их с такой властной убедительностью, что иной раз кажется – сам сатана говорит его устами. Но холод, мрак и ужас продолжают царить над вашими сердцами и, пройдя через жестокий соблазн и искушение, душа ваша, утомлённая и истерзанная, взыскует одного решения, имя же ему: Бог.

Веры в Бога Достоевский не даёт, так как вера не даётся пассивным восприятием, но убеждение, что без Бога нет пути, ни вам, ни всему человечеству – это убеждение прожигает ваше сознание насквозь.

Идея Бога занимает центральное место в творениях Достоевского, как она занимает его в переживаемом нами кризисе мировой культуры, и, повторяем, если суждено было бы погибнуть нашей эпохе и единственным памятником её остался бы Достоевский, причины падения нашей культуры сделались бы ясными последующим векам, а сказания о ней заняли бы место рядом с преданиями о Вавилонском Столпотворении.

Толстой и Достоевский – последние из великих. За ними начинается наша современность, тусклая и безразличная. Давно ль отливала она тысячью цветов и огней, трепетала в нервном биении жизни, наполняла наши сердца страстными откликами, – и вот чуждой, полузабытой ненужностью лежит она, оторванная и отброшенная вихрем событий. Многими талантами богата наша эпоха, правдивые отражения нашла в их творениях душа современного нам человека во всех её своеобразных извилинах и капризных изгибах, но лишь одинокие вершины, отдельные всплески художественной мысли достигают уровня великих ушедших старцев. Нет, видно, силы гения, которая могла бы превозмочь бремя надвигающейся катастрофы, преодолеть её гнёт; густой мрак надвигающихся туч бросает свою тяжёлую тень, и в одно смутное, серое пятно сливается в наших глазах всё многообразие лиц и фигур, ещё недавно отчётливых, живых, ярких, близких, волнующих. Пусть в неясных, но живых предчувствиях билась их мысль, пусть громкими возгласами неудержимой тревоги оглашали они обманчивую тишину – разве вспоминают о чайках в разгар мятущейся бури. "Современность",

как эпоха нашей жизни, утопает в грохочущем потоке событий, исчезает в нём, увлекаемая оползнями скрывающейся пропасти.

Холодно и жутко на душе; сгущаются сумерки, озаряемые заревом разгорающегося пожара нашей культуры. Быть может, мимолётными слабыми зарницами уже вспыхивают огни, отражающие свет будущего, быть может, властная рука Строителя жизни уже намечает среди развалин линии новых планов, закладывает основы новых очагов. Быть может, именно нашему поколению выпал великий жребий сберечь вверенный ему светоч культуры и сквозь вихрь разбушевавшейся стихии пронести его трепещущее пламя. Быть может... но нам, сынам прошлого, этого видеть не дано. Мы, свидетели великого крушения, видим лишь обломки былого, впервые проникающего в наше сознание в какой-то новой, античной целостности.

Холодно и жутко на душе; сгущаются сумерки. Ещё падают на нас косые лучи света, но знаем мы, что это не разгорающаяся заря восходящего светила, а угасающие, вечерние, прощальные лучи. Встанет когда-нибудь вновь вечное солнце, заливая своим светом новую возродившуюся жизнь. Быть может, уже нам предстоит ощутить в наших усталых тоскующих членах предрассветный бодрящий холодок грядущего дня, пока же, охваченные волной вечерних сумерек, исполненные предчувствий наступающей ночи, жадно ловим мы знакомые, дорогие черты, озарённые закатным отблеском уходящей культуры.



СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СЛАВЯНИЗМЫ

Л.К. ГРАУДИНА,
доктор филологических наук

*У слова есть тоже свое странствие...
не только голгофское, как у преследуемых и
гонимых, но по-своему очень загадочное. По
неугадываемым путям, подспудно и
незаметно проникает оно в места, о
которых и не подумаешь.*

Борис Зайцев. Дни.

Слова Бориса Константиновича Зайцева, известного русского писателя-эмигранта, вынесенные в эпиграф, в полной мере могут служить характеристикой стилистических славянизмов. О церковнославянизмах в составе русского литературного языка высказывались многие крупные

ученые: Л.А. Булаховский, С.К. Булич, В.В. Виноградов, Н.Н. Дурново, Е.Ф. Карский, Б.М. Ляпунов, А.И. Соболевский, Л.В. Щерба, Н.И. Толстой и другие.

В этом, 1997-м году, когда мы отмечаем тридцатилетие современного журнала "Русская речь", уместно вспомнить о том, что еще в сборнике двадцатых годов с тем же названием В.В. Виноградов писал, что проблема "миграции церковнославянизмов" является "центральной проблемой истории русской литературной речи" (Виноградов В.В. К истории лексики русского литературного языка // Русская речь. 1927. С. 90).

Хотя тема церковнославянской лексики для лингвистов – историков литературного языка и культурологов традиционна и в некотором смысле даже обязательна, изучению стилистического употребления славянизмов уделялось мало внимания.

В наши дни в процессе "смены языка" (по резкому выражению писательницы Натальи Ивановой) наряду с явлениями, бьющими в глаза и бурлящими в поверхностном слое речи (рост количества американизмов, натиск жаргонной и просторечной лексики), заметно увеличилось использование лексики, связанной с "концептосферой" (термин Д.С. Лихачева) христианства и в первую очередь православия.

Понятие *стилистического славянизма*, введенное для разграничения славянизмов по происхождению и славянизмов по употреблению, было выдвинуто русскими лингвистами сравнительно недавно. В терминологическом смысле оно встречается в лингвистической литературе с двадцатых годов нашего века. Так, в упомянутой работе В.В. Виноградов отмечал важность изучения лексических "двойников", т.е. славянизмов, имеющих общеупотребительные синонимы (напр., *лоб* – *чело*, *старик* – *старец* и под.). «Лексические двойники» – чрезвычайно существенный, можно даже сказать, центральный вопрос при изучении семантического взаимодействия "церковно-славянской" и "русской" лексики в истории литературной речи» (Указ. соч. С. 106).

Г.О. Винокур в известной статье "О славянизмах в современном русском литературном языке" также обособлял "славянизмы в стилистическом смысле" (т.е. славянизмы, имеющие общеупотребительные синонимы) в особый разряд и обращал внимание на факт "почти полного отсутствия в современном языке стилистических славянизмов", хотя в языке художественной, особенно стихотворной литературы начала XIX века они были "представлены очень обильно" (Винокур Г.О. О славянизмах в современном русском литературном языке // Русский язык в школе. 1947. № 4. С. 11).

Церковно-книжная культура речи сохранялась в культовой литературе на протяжении многих сотен лет и дошла до наших дней – в церковных книгах, в Библии, Псалтыри, проповедях, молитвах. В сти-

хотворном же языке, даже в XIX веке элементы церковнославянского языка, в том числе и стилистические славянизмы, были представлены широко. Особенно в языке поэтов, создававших произведения высокого духовного настроения. Достаточно вспомнить всем нам известного со школьных лет "Пророка" А.С. Пушкина. Ученики и в современной школе произносят наизусть стилистические славянизмы из этого стихотворения: *отверзлись зеницы, горний ангелов полет, персты, уста, десница, бога глас воззвал, виждь и внемли* и т.д.

Куда же девались церковнославянские лексические "двойники" (типа *ланиты, персты, десница*) и варианты (*глас, брег, златой, полунощный, возлюбить* и под.) в послепушкинской поэзии и как они выходили из употребления? Следует ли считать, что стилистические славянизмы – это теперь уже архаичный пласт лексики, окончательно покинувший пределы нашего литературного языка?

Забегая вперед, можно ответить на второй вопрос вполне определенно, согласившись с утверждением Н.И. Толстого, высказанным в предисловии к новому учебнику А.А. Плетневой и А.Г. Кравецкого "Церковнославянский язык" (М., 1996). Отвечая на вопрос, утратил ли свою значительную роль церковнославянский в наше время, Н.И. Толстой подчеркнул: "Я полагаю, что не утратил, что именно эту функциональную сторону древнего языка, языка, не отрешенного от современности, следует осознавать и воспринимать в наше время" (Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. М., 1996. С. 5).

Интересно, что даже характер современного стилистического восприятия параллельных оборотов речи церковнославянского и русского происхождения по сравнению с XIX в. в некоторых случаях почти не изменился. Президент Российской Академии наук А.С. Шишков в свое время приводил варианты высказываний с церковнославянскими и русизмами, выбор которых обусловлен жанром, темой, контекстом или ситуацией: *юная дева трепещет / молодая девка дрожит, к хладну сердцу выю клонит / к холодному сердцу шею гнет*.

Аналогична реакция нашего современника Н.И. Толстого. В цитированной выше работе он заметил: «"Мы и сейчас, порой подсознательно, несем в себе частицы священного общеславянского языка и пользуемся им. Употребляя пословицу *Устами младенца глаголет истина*, мы не задумываемся над тем, что "чисто" по-русски следовало бы сказать "Ртом ребенка говорит правда", а ощущаем лишь некоторый архаизм, книжность этого мудрого речения» (Указ. соч. С. 4).

Однако контраст в использовании стилистических славянизмов в XX веке по сравнению с пушкинским временем разителен. История их выхода из употребления в основных чертах была следующая.

В течение всего XIX века происходил процесс снижения употребительности славянизмов. В своей эволюции они проходили определенную стилистическую и жанровую "лестницу". Эти древние, прекрасные и выразительные слова вначале исчезали из прозаических произведений, хотя и оставались в поэзии. В двадцатом же веке они и в стихотворной речи воспринимались как архаизмы. Достаточно привести примеры того, какими пометами сопровождаются те стилистические славянизмы, которые приведены в толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова: *врата* (церк.-книжн., поэт. устар.), *глава* в значении "голова" (церк.-книжн., поэт. устар.), *глагол* в значении "речь, слово" (церк.-книжн., поэт. устар.), *град* в значении "город" (церк.-книжн., поэт. устар.) – всего около двухсот стилистических славянизмов.

Внешне выход из употребления стилистических славянизмов проявлялся, с одной стороны, в постепенном сокращении состава славянизмов, и с другой – в снижении частоты их употребления. В этом отношении весьма показательна история неполногласных вариантов в поэтической речи. Р.М. Цейтлин установила, что в языке художественной литературы карамзинско-пушкинского времени в обращении находилось 73 стилистически соотносительных полногласных и неполногласных варианта в русском литературном языке конца XVIII – начала XIX вв. (АКД, М., 1946). В продолжение этой работы мною был исследован язык двадцати поэтов 40–60-х годов и десяти поэтов 70–90-х годов XIX в., причем в целях сопоставимости выборки было взято по 100 тысяч стихотворных строк для каждого из сравниваемых периодов. Исследование привело к следующим результатам. Количество вариантных пар к 40–60-м годам XIX в. снизилось с 73 до 43, а к 70–90-м годам – до 20-ти пар. Многие неполногласные варианты, ранее весьма употребительные в поэзии (типа *младость*, *власы*, *мразный*, *средина*, *златистый* и др.), уже в 70–90-е годы в выборке не были отмечены. Сознательный отказ от неполногласий не всегда был удачным.

Сохранился эпизод отношений между А.А. Фетом и И.С. Тургеневым, связанный с редакторской работой Тургенева над стихотворениями Фета. Известно, что Тургенев, будучи редактором, беспощадно изгонял многие слова высокой лексики, иногда в ущерб поэтической выразительности фетовских стихотворений. Он убирал из текстов Фета вообще все славянизмы и архаизмы, так же, как и новообразованные, редкие или местные слова и обороты. Так, строка "Оставя резвый круг *сребра* на влаге гладкой" после тургеньевской правки заменена словами "Пусть широкий круг бежать по влаге гладкой". Фетовская строка, конечно же, более живописна. Еще один пример. У Фета в оригинале есть запоминающиеся строки:

Я русский, я люблю молчанье дали *мражной*
Под потолком снегов как смерть однообразной.

После тургеневской редакции текст лишь отдаленно напоминал первый вариант:

На пажитях немых люблю в мороз трескучий
При свете солнечном я снега блеск колючий.

В первом случае покоряет выразительность строк, во втором – образ размыт, банален и не врезается в память. Эти и другие факты подобного рода приведены в статье Н. Колпаковой "Из истории фетовского текста" (Сб. "Поэтика". 3, 1927).

Приведенные примеры характеризуют языковые вкусы Тургенева: неприязнь к условно-поэтическим словам согласовалась с общей демократической тенденцией художественной речи, когда высокая лексика воспринималась прозаиками и поэтами реалистической ориентации как отжившая. Она сохранялась лишь в произведениях определенных стихотворных жанров в качестве стилистического элемента. Таков расцветший в 40–50-е годы жанр антологических стихотворений – в творчестве Н. Щербины, В.А. Майкова, Л.А. Мея, И.И. Михайлова; жанр "восточной" лирики с его религиозно-библейскими мотивами – в творчестве В.А. Майкова, Л.А. Мея, в конце XIX в. – в творчестве Н. Минского, Д.С. Мережковского и др.

Даже в жанре исторической песни, исторических сказаний, например, в балладах, песнях, притчах А.К. Толстого стилистические славянизмы все еще использовались. Установка на стилизацию выражена и в стихотворениях на исторические национально-русские сюжеты в творчестве братьев Аксаковых, Л.А. Мея, А.С. Хомякова. Приведу лишь немногие примеры.

Константин Аксаков:

А ты молчишь, народ великий,
Тогда как над *главой* твоей
Нестройны раздаются звуки
Тобой владеющих теней

(Стихотворения. М., 1909. С. 65)

Вампира жадными устами
Жизнь из народа тени пьют
И просвещения лучами
Свой греют *хлад*... Напрасный труд!
Им не согреть свой *хлад* мертвящий
Ни просвещенье, ни народ
Им жизни полной, настоящей
Не может дать и не дает.

(Тени. Там же. С. 63)

Веселье – образ жизни ясной,
Сердечный спутник чистоты,
Златой удел души прекрасной
Всегда благословенно ты...

(Веселье. Там же. С. 70)

Иван Аксаков:

И мыслит: "Чаемый, молимый
День наступает. Близок срок.
Узрю тебя, досель гонимый,
Но ныне судящий пророк!
Не призрак ты: с костями и кровью,
Как мы, в плоти идешь ты к нам.
С каким *стенаньем* и любовью
Я припаду к твоим ногам.

(Пророк. Сб. стихотворений И.С. Аксакова.
1886. С. 1–2)

А.К. Толстой:

Князь Ростислав в земле чужой
Лежит на дне речном...
Днепра подводные красы
Лобзаться любят с ним
и гребнем витязя *власы*
Расчесывать *златым*...
Его напрасно день и ночь
Княгиня дома ждет,
Ладья его умчала прочь
назад не принесет.

(Толстой А.К. Полн. собр. стихотворений. 1937.
С. 224).

Существенные сдвиги в употреблении славянизмов происходили со сменой поколений, каждые тридцать – сорок лет. Так, в поэтическом языке соотношение церковнославянских неполногласных и русских полногласных вариантов в конце XVIII – начале XIX вв. явно отражало предпочтительность славянизмов: 57,8% – неполногласия и 42,2% – полногласия. В 40–60-х годах соответственно 27,7% и 72,3%, а в 70–90-х годах – 20,8% и 79,2%.

К началу XX в. неполногласные варианты сохранялись; есть они и поныне, прежде всего во фразеологических сочетаниях типа *трубный глас*, *глас вопиющего в пустыне*, *златой телец*, *райское древо*, *посыпать главу пеплом*, *страна млека и меда*, *кладезь мудрости* и т.д. В свободном же употреблении они встречаются все реже и реже. Приобретая еще более интенсивную окраску, свойственную не просто книжным, но особо возвышенным словам, славянизмы становились неуместными и нелепыми в обиходной речи.

Неполногласные варианты прежде всего утрачивали конкретные, прямые значения и дальше сохранялись лишь в переносных, а также в поэтических формулах, чаще в применении к отвлеченным понятиям и в составе особых сочетаний, библейских в том числе: *врата спасенья, врата мытарств, стражи прошлого, древо познания, брег забвения, трубный глас* и т.п.

В переносных употреблении еще в первой трети XX в. стилистические славянизмы использовались достаточно широко поэтами А. Блоком, В. Брюсовым, С. Есениным и многими другими:

Затянут в бездну гибели сердечной
Я – равнодушный серый нелюдим...
Толпа кричит – я *хладен* бесконечно,
Толпа зовет – я *нем и недвижим*.

(Блок А. Полн. собр. стихотв.
в 2-х т. М., 1946. Т. 1. С. 21).

...Грозно ночь глухая
Царит над сонною землей
И лишь в дали заря *златая*
Горит отрадной полосой.

(Надсон С. "Стихотворения". СПб, 1912. С. 29)

Снежная замать крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка,
Мчится на тройке чужая *младость*.
Где мое счастье? Где моя радость?

(Есенин С. "Стихотворения". М., 1995. Т. 1.
С. 297)

Особенный взлет высокого стиля в русской поэзии наблюдался в годы Великой Отечественной войны. Стилистические славянизмы будто обновились и составили особый резерв поэтической лексики военных стихотворных произведений: *чело, чертог, стезя, полуночный, страждущий, низвергать, разверзнуться, узреть, подъять, объять* (в значении "охватить") нередко использовались в стихотворной речи поэтов военных лет:

Куда приведет его эта *стезя*
В какие края – неизвестно...
Прощайте, родные, прощайте, друзья!
Прощай, дорогая невеста

(М. Исаковский)

Еще вчера в батальные картины
Художники по памяти отцов
Вписали *полуночные* равнины
И стаи птиц над грудой мертвецов

(К. Симонов)

И море *разверзается*, глотая
Торпедами пробитые суда

(М. Алигер)

И в том родстве переплетенном,
Одной причастные семье,
Как будто *древом* разветвленным
Расположились по земле

(А. Твардовский)

В послевоенные десятилетия для стилистических славянизмов, как казалось, наступило время окончательного забвения. "Старомодная лексика", "ложно-поэтические штампы", "арсенал архаичных поэтических" слов и выражений – подобные утверждения были нередки по отношению к этому слою лексики, постоянно сужавшейся в употреблении.

Но вот пришли девяностые годы. Вступили в действие новые факторы, которые влияют на словарный состав языка. С возрождением церкви ныне восстанавливается традиционный пласт духовной и профессиональной лексики и повышается его культурный вес; для стилистических славянизмов наступило время пробуждения к новой жизни. Однако векторы развития стилистических славянизмов в XIX и в конце XX века обращены в разные стороны. Основное место пребывания славянизмов в литературном языке второй половины XIX века – поэзия. Тогда как жанровая "лестница" возрождающихся в употреблении стилистических славянизмов в наши дни повернута в другую сторону. Поскольку в радио- и телепередачах немало места отводится слушателям церкви, употребление стилистических славянизмов активизировалось прежде всего в духовной (церковно-богословской) речи, обращенной к широкому слушателю.

Сейчас наблюдается процесс обогащения новыми контекстами и смысловыми нюансами прежде забытых слов и оборотов речи. Можно привести лишь некоторые примеры современного употребления славянизмов: Но *древо* узнается по плодам его (Из предвыборного выступления представителя партии "Христиане России". ОРТ, 1995); Никто не *ввидет* в царство Божие... (РР, 18.01.1995); Оберегись, *человече*, следовать этим посулам, этим *вещаниям змия* (из выступления священника, РР, 22.06.1993); Ликуют *ангели на небеси* и *человеци на земли* (РТР, Служба "Рождество Христово". 6.01.1995); Сегодня наш взор устремлен в *горнее пространство* (МТК, 13.09.1991); Одна из заповедей гласит: *не убий!* (Из выступления митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. МТК, 11.09.1996).

Появились и новые фильмы, в названиях которых используются стилистические славянизмы: "Ныне *прославися*, сын человеческий".

"Чада светлой России", "Спаси, Боже, люди твоя", "Древо животворящее". Создан русский духовный театр "Глас"; идет постоянная телепередача по МТК под рубрикой "Град – город" и т.п.

Новая социально-культурная база, складывающаяся в нашем обществе, способствует более широкому распространению стилистических славянизмов и в языке публицистики, и в языке художественных произведений. В репортаже о храме Спаса на крови в Петербурге журналистка отмечает: "Похоже, уберегла этот храм от разрушения *длань Господня*" (ОРТ, 1.09.1996). В тексте из газеты "Церковные вести", прочитанном по радио, прозвучали слова: "Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в *чертогах твоих*" (Радио России, 7.01.1995).

В обращении к духовному лицу журналистка, ведущая радиопередачу, в диалоге также использует стилистический славянизм: "–*Отче*, любой ли крестик принесет пользу?" (Радио "Маяк", 21.03.1993).

А вот вопрос ведущего, обращенный к профессионалу в ювелирном деле: "Возможно ли ювелирное дело без *злата* и серебра?" (Радио России, 11.02.1996) и т.д.

В условиях возросшего употребления славянизмов всем нам необходимо помнить об опыте предыдущих поколений. Существует сложившаяся за столетия культура нормативного употребления церковнославянских элементов литературной речи. Ее надо знать, чтобы не допускать ошибок, которые нередко сопровождают использование славянизмов нашими современниками. Приведу лишь немногие примеры. В комментариях по поводу похорон Александра Меня журналист произносит: "Перед *отвёрстой* могилой отца Александра..." (РР, 15.09.1992). В церковнославянском нет звука, передаваемого буквой ё. Надо произносить славянизмы со звуком *e*: *отверстая* и *сестры*, а не *отвёрстая* и *сёстры*. Слово *Бог* следует произносить в именительном падеже ед. числа с *г* фрикативным: бо[γ], а не бо[к].

В комедии Л. Гайдая "Спортлото-82" герой говорит: "Живем как Христос за пазухой", искажая известный фразеологизм – *Как у Христа за пазухой*. И уж совсем неловко было, когда высокопоставленное лицо, с трудом воспроизводя текст по бумажке, прочитал слова Ломоносова так:

Держайте ж ныне *ободрённые*
Раденьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля *рожать*.

(НТВ, 31.1.1995)

Конечно, обмолвки нередко вырываются у каждого из нас, но такой текст нельзя было давать по телевидению, даже если оно независимое.

В книге М.Н. Нестерова "Русская устаревшая и устаревающая лексика" (Смоленск–Брянск, 1988) приведен интересный факт: "По данным ученых на 1988 г., коэффициент сохраняемости основного словарного фонда равен в среднем 81–83% за тысячу лет, т.е. язык изменяется за тысячелетний период лишь на 1/5–1/6 часть". В связи с происходящей на наших глазах динамикой словоупотребления становится очевидным, что в состав лексики современных толковых словарей необходимо не только включать слова, выражающие понятия христианской морали, которые в советское время не помещали в толковые словари по идеологическим соображениям, важно обратить внимание и на стилистические славянизмы. Как говорят, Библия не должна лежать рядом с кастрюлей. Духовное, значительное и высокое не следует понижать до бытового, обиходного и обыденного, хотя и то и другое, отраженное в словаре, необходимо в речевом общении. Стилистические и смысловые смещения в современном функционировании славянизмов достойны того, чтобы найти профессиональное отображение в толковых словарях и в современных учебных пособиях по лексике.



"Чужая речь" в очерках
писателей русского зарубежья
1920–1930-х годов

*А.В. НИКОЛАЕВА,
кандидат филологических наук*

Автор публицистического произведения часто выступает от имени определенной части общества, представляя ее интересы. Незаменяемый способ создания множественности авторского "я" – привлечение в текст чужой речи.

В русскоязычной эмигрантской прессе 20–30-х годов широкое распространение получили аналитические очерки, которые строились на основе активного использования цитат. В цитате чужое слово выделено с наибольшей определенностью и находится в отношении взаимопроникновения и взаимообусловленности с собственно-авторским словом.

Эмигрантов волновало прежде всего то, что происходило в России, но отстраненные от событий в СССР, они вынуждены были подтверждать свои наблюдения и выводы при помощи фактов, взятых из самых разных источников. В качестве подобных источников обычно использовались советская пресса и литература: материалы эмигрантской журналистики и литературы; произведения русских классиков.

Рассмотрим несколько конкретных примеров использования цитат в очерках.

Марк Вишняк (публицист, секретарь Учредительного собрания, в эмиграции с 1920 года) в своем очерке "На Родине (Мы и Они)" воспринимает и передает чужое высказывание как выражение, характеризующее не только предмет речи, но и самого говорящего (пишущего). Интонация авторской иронии, сарказма наполняет цитаты, размывает определенные кавычками границы чужой речи: «Но разве тем самым и хотя бы одним этим, что только на Западе мог А. Белый понять самого себя и свою способность "выхождения из самого себя", – гнилой Запад частично не оправдан? Даже для тех, кому в обладании

"опытом выхождения из себя самого" дано было только здесь, на чужбине, каким-то внутренним слухом услышать, что "с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пение поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом» (Вишняк М. На родине (Мы и Они) // Литература русского зарубежья: Антология. М., 1990. Т. 1. С. 355); «Из писателей и поэтов менее крупной величины И. Эренбург, очутившись в "никчемной эмиграции", пожалуй, решительнее других восстает против нее, неспособной "изучить, понять и, понявши, принять" "симптомы некой родильной горячки", сотрясающей Европу, и вместо того организующей лишь "плач на берегах Сены или Шпрее"» (Указ. соч.).

Цитаты объединены не только проблематикой, но и похожестью ее воплощения в слове, одинаковостью образов. Авторский текст, в свою очередь, повторяет внешнее оформление цитируемых отрывков. Из разного синтезируется единое. Кавычки обозначают скорее всего переход на определенную общественную позицию, а не служат только для выделения в тексте чужой речи. Вот, например, отрывок, в котором представлены отдельные выражения из стихов Андрея Белого: «И Андрей Белый не исключение. Не ему одному слышится "соловьиное пение поэтов", грезится "весенний ласкающий сад", побуждающие противопоставлять "здесь" и "там", "их" и "нас"...» (С. 355). Это уже не цитирование, а имитация чужой речи.

Автор полемизирует не с отдельными писателями, а с определенной системой взглядов. Подбор цитат основан на принципе наибольшей схожести изложения этих взглядов. Поэтому неудивительно, что и по стилистическому оформлению они чем-то схожи. "Соловьиное пение поэтов", "плач на берегах Сены" – эти поэтические образы равны по своей оторванности от мира реалей.

Публицисту удастся создать цельное повествование. Сам автор остается как бы в стороне. Интересно то, что именно создание атмосферы чужой речи является одним из главных способов подчеркивания точки зрения самого писателя. На прямую передачу цитат ложится тень от оценивающего авторского контекста. Слова и выражения из цитат, которые автор использует в своем тексте, получают иное звучание, чем в тех источниках, откуда они заимствованы.

Писатель в своем очерке использует и совершенно иной способ обращения с чужим словом. Так, автор приводит высказывание А. Ремизова: "Если что и бодрит дух мой – это скорбь, и эта скорбь дает мне право быть", – и тут же подхватывает его: «Только переступив долину стонов и смерти, на известном расстоянии от нее, силой поэтического вдохновения можно воссоздать из себя вместо кругов российского ада "весенний ласкающий сад", в котором те, кто обречен умереть, – "умирают любя". А там – прав Ремизов – только скорбь

бодрит дух, только скорбь дает право быть...» (Указ. соч. С. 359). Точная цитата из произведения Ремизова – не закавычена! Писатель разделяет позицию Ремизова, поэтому вводит его слова в свой текст без кавычек. Для Марка Вишняка – оформление слов цитируемых авторов при помощи кавычек – один из способов подчеркивания несовпадения его собственной точки зрения с их взглядами.

Эмигранты, вычеркнутые из будней советской России, вынуждены строить свои тексты при помощи активного привлечения слов и выражений нового порядка. Это необходимо для создания более или менее реальной картины жизни в Советах. Лексика советского режима в крайне негативном контексте встречается в очерках эмигрантов очень часто. Причем, даже в собственно-авторской речи эти слова часто закавычиваются, что подчеркивает отношение к ним автора: «Достаточно прочесть их дискуссионные листки. Троцкий, шипя от бешенства, швыряет в "аппаратчиков" Чанг-Кай-Шеном, Перселлем, кулаками, "социализмом в одной стране"...» (Алданов М. Современники // Литература русского зарубежья: Антология. М., 1991. Т. 2. С. 62).

Не внешние атрибуты, не конкретные действия выделяются писателем как основные в создании портретов большевиков. Главным для эмоциональной выразительности образа оказывается подбор слов.

В публицистике русского зарубежья часто встречаются цитаты, даже целые отрывки, из русской классической литературы. Авторы ищут ответы на проблемы современности внутри определенных художественных систем, ассоциирующихся в их представлении с мировоззренческой системой взглядов каждого настоящего русского. Такой подход очень характерен для публицистов эмиграции. Они, потеряв почву под ногами, ищут вечные ценности. А уж следствием этого является невольное подражание языку рассматриваемых трудов.

Например, в очерке Е. Сталинского (критик, активный член партии эсеров, в эмиграции с начала 20-х годов) "Десять лет. (Февральская революция)" революция изображена при помощи цитат из произведений русских классиков: «...видение грядущей революции дано Салтыковым-Щедриным. ...Вспомним его описание момента гибели Угрюма-Бурчеева – этого символического образа, в котором воплощены вся тугопуть и жестокость самодержавия:

"Север потемнел и покрылся тучами: из этих туч несло на город, не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно несло, буравя землю, грохоча, гудя и стона и по временам изрыгая из себя какие-то глухие каркающие звуки... Наконец земля затряслась, солнце померкло... Оно пришло"» (Сталинский Е. Десять лет // Литература русского зарубежья. Т. 2. С. 486–497).

В авторских строках, следующих за отрывком, используется лексика цитаты, ее тональность: «Чудо февраля, если можно говорить о чуде,

было в том, что самодержавный Угрюм-Бурчеев исчез именно так, как и описано в истории одного города: "со зловещим треском, ментально...". Но земля не затряслась, солнце не померкло и колокола гудели не набатным призывом, а разливались радостным звоном» (Указ. соч.).

Автор пытается объяснить неизвестное через известное, перекинуть мостик из прошлого в будущее. Заострив внимание читателя на образах знакомых, вводя их непосредственно в свой собственный текст, писатель заставляет читателя поверить в авторитетность своего мнения. Использование чужого слова в данном случае – попытка плавного перехода из одной художественной системы в другую. Чужие интонации служат для оформления собственно-авторского повествования.

Поиск авторитета может вестись и среди современных источников. В таком случае писатель обычно стремится подкрепить свое суждение несколькими голосами. Автор уходит на второй план, главная выразительная сила заключена в несобственно-авторском тексте: "Я очень испугался, когда пришли большевики, начали грабить и взяли моего дедушку, привязали его к столу и стали мучить...!" (М. Арцыбашев, прозаик, публицист, эмигрировал в 1923 г.; Записки писателя // Литература русского зарубежья: Антология. Т. 2. С. 433–462); "Они потребовали маму и старших сестер на допрос. Что они с ними сделали, я не знаю. Это от меня и младших сестер скрывали. Я знаю одно, – вскоре после этого моя мама умерла!" (Указ. соч.). Писатель привел выдержки из детских сочинений, документ большей убедительности найти было бы невозможно. Точку зрения своих оппонентов автор выражает в глубоко ироничном тоне:

«Ах, милая, бедная девочка! Забудь об этом!... Во имя "вечных ценностей" забудь, вырасти большая, вернись в Россию и выйди замуж за одного из тех, кто сделал с твоей мамой и сестрами то, что от тебя скрыли. Ведь "выгоднее придерживаться духа амнистии"! Авось проценный большевик сделает с тобой то же, что сделал с твоей мамой и сестрами, с таким же удовольствием, но без всякого вреда для твоего здоровья. И будет тебе приятно, и ему хорошо» (Указ. соч.) Автор ушел от прямой полемики. Он заставил говорить своих оппонентов.

Из этих примеров видно, что обращение к чужому слову, использование его в своих интересах – сильный публицистический прием, один из способов выражения общественной позиции автора.

ЭЛЕКТОРАТ

Эр. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук

Это слово вызывает у некоторых наших сограждан активное неприятие: к чему, мол, оно нам, когда есть свое – *избиратели*.

Электорат отсутствует в Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, в четырехтомном Словаре русского языка, в семнадцатитомном Словаре современного русского литературного языка, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1992). Не было его во всех 32-х изданиях Орфографического словаря русского языка, а также в Словаре иностранных слов вплоть до изданий конца 80-х годов. В первом издании однотомного Советского Энциклопедического Словаря (1979) *электорат* также отсутствовал.

Почему же это слово не включалось в словники всех четырех известных русских толковых словарей? Видимо, из-за того, что в корпусах русских текстов, на которые опирались лексикографы, оно не встречалось. Но почему? Ответ заключен в его значении. Вот как истолковано оно в Словаре иностранных слов (1989): "Электорат [лат. *elector* избиратель] – круг избирателей, голосующих за какую-либо политическую партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах". В Политологическом словаре (М., 1994), изданном под грифом Российской академии управления, сказано, что *электорат* – это "избирательный (читай: избирательский. – Э.Х.) корпус", что, как правило, "основные политические организации, действующие в данном обществе, имеют свою традиционную избирательную (избирательскую. – Э.Х.) базу" (ч. II. С. 200).

Вспомним, как проходили у нас выборы в столь недалеком прошлом. Выборы без выбора: голосовать – голосовали (т.е. отдавали голоса), но выбора не существовало. Это была государственная насмешка над значением слова. И партий никаких не имелось, кроме одной, "родной" – "организатора и вдохновителя всех наших побед". О каких же традиционных контингентах, кругах, базах избирателей, голосующих за те или иные партии или движения могла идти речь? Это были "их нравы", не наши. У нас же если и был электорат, то один-единственный, дружно голосовавший за кандидатов пресловутого блока коммунистов и беспартийных. Слово *электорат* не имело бы у нас множественного

числа, было бы существительным *singularia tantum*, как, например, *бод-рость* или *свет*. Иначе говоря, слово не было востребовано обстоятельствами, сложившимися в тоталитарном государстве.

Но вот ушло в прошлое то государство. Есть разные партии, движения. Есть более или менее постоянный круг голосующих за них. Как назвать одним словом этот круг, контингент, корпус, эту базу избирателей? Существует для этого международный (интернациональный) политологический и социологический термин – *электорат*. Есть у него русский однословный эквивалент? *Избиратели*? Но в этом слове нет ни семы "круг", "контингент", "корпус", ни семы "относительно постоянный", "традиционный". И потом, как быть, например, в таком случае: "Крупные сдвиги в электоратах ведущих партий, как правило, связаны с кризисными ситуациями в развитии страны..." (Политологический словарь. Ч. II. С. 201). Попробуйте заменить здесь *электорат* на *избирателей*: крупные сдвиги в избирателях? Так нельзя сказать. Это нарушение лексико-семантической нормы.

Еще пример: "...необходимо было более четко определить границы оппозиционного электората...", "Это резко суживает электорат оппозиции..." (Славин Б. Оглядываясь на выборы // Правда. 1996. 9 июля.). Можно ли сказать: *определить границы избирателей. суживает избирателей оппозиции?* Нельзя. А сдвиги в границах, размерах контингента, круга, корпуса, базы могут быть. Сема "пространство" есть в лексическом значении слова *электорат* и нет ее в слове *избиратели*.

Итак, *электорат* – общепринятый международный термин, термин-интернационализм. Однословного эквивалента в русском языке у него нет. На каком же основании отвергать его?

РОДНОЙ ЯЗЫК

Э.А. ГРИГОРЯН,

кандидат филологических наук

Понятие "родной язык", безусловно, занимает центральное место в языковом сознании любого народа. Главным образом, это связано с действием ментальных стереотипов, "работающих" на разграничение "своего" и "чужого", являющееся основой самоотождествления любого этнического коллектива (Григорян Э.А. Свой-чужой // Русская речь. 1994. № 3).

Тем не менее ни одна наука, в сфере которой это понятие входит и которая для построения сложных теорий и методик исследования непременно оперирует этим понятием, не рассматривает его как серьезный объект изучения. Со всей уверенностью к таким наукам следует отнести этнографию, психологию, лингвистику, не говоря уже о соответствующих смежных дисциплинах – этнолингвистике, психолингвистике, социолингвистике.

Создается впечатление, что термин "родной язык" часто используют как синоним термина "национальный язык" при исследовании двуязычных и многоязычных ситуаций. При этом исходят из того, что национальность и родной язык обязательно совпадают. Научный узус (прежде всего социолингвистический) в этом вопросе повторяет стереотип бытового представления об этническом и языковом членении мира. Между тем, в реальной языковой жизни этнические и языковые соотношения часто оказываются более многообразными и сложными.

Родной язык в монолингвальном этническом коллективе – это язык, который соответствует бытовому представлению о родном языке (китаец, по мнению большинства других людей, знает китайский язык и это его родной язык). Сами члены соответствующих языковых коллективов именно так воспринимают себя, свой язык и по этим признакам отделяют себя от других. «Дело в том, что отличительной чертой этноса является деление мира надвое: "мы" и "не мы", или все остальные. Эллины и "варвары", иудеи и необрезанные, "люди Срединного государства" (китайцы) и "дикари" – на севере "ху", на юге "мань"» (Гумилев Л.Н. Этносфера. История людей и история природы. М., 1993. С. 19).

Такое представление, по сути, основа мировосприятия человека. «...этнос – коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам... Нет ни одного реального признака для определения эт-

носа, применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда – нет. Вынести за скобку мы можем только одно – признание каждой особи: "мы такие-то, а все прочие – другие"» (Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 41).

Любой из указанных признаков этнических объединений может выступать в сочетании с другими. Язык очень часто входит в эти сочетания, но, как правило, в молилингвальных и моноэтнических сообществах. В этом случае он является стержнем противопоставления "мы–они", его частью, выражающейся в стереотипе "свой–чужой". Никакого объективного отношения к другим народам и к своему народу на этом уровне нет и не может быть. Как ни странно, однако, но стабильность этносов зиждется именно на таком противопоставлении. При здравом рассуждении понятно, что ни один этнос не может иметь настолько выдающиеся черты, чтобы считать их уникальными: "Хотя каждая этническая группа, взятая в целом, представляется уникальной, любая из ее типичных черт присуща не только ей одной, но характеризует также в большей или меньшей степени другие народы... ни одна из этих черт, взятая в отдельности, не является и не может быть уникальной" (Кон И.С. К проблеме национального характера // История и психология. М., 1971. С. 147).

Естественно, "свой" язык не может не повторяться в других языках (напомним, речь идет о бытовом языковом представлении). "Этнические стереотипы, воплощающие присущие обыденному языковому сознанию представления о своем собственном и чужих народах, не просто суммируют определенные сведения, но и выражают эмоциональное отношение к объекту. В них своеобразно сконденсирована вся история межнациональных отношений. Уже простое описание тех или иных черт содержит в себе определенный оценочный элемент" (Кон И.С. Указ. соч. С. 130. Подробнее см.: Кон И.С. Психология предрассудка (О социально-психологических корнях этнических предрассудков) // Новый мир. 1966. № 9; Поршнева Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966. С. 110). Чаще "свое" оценивается положительно, а "чужое" – отрицательно.

Если в сферу такого оценочного противопоставления входит язык, то появляется феномен, называемый "родной язык". Все члены такого коллектива называют родным язык, совпадающий с их национальностью, и все владеют этим языком с детства.

Именно такая модель оказывается наиболее устойчивой. Как правило, это этнические коллективы, характеризующиеся этноцентрическим и молилингвальным представлением о мире. Члены такого коллектива могут знать и другие языки, но сообщество остается стабильным, так как общий стереотип не нарушается.

В реальной жизни формы существования языков и народов более многообразны. В большинстве из них логичное, ясное, имеющее длительную историю, монолингвальное представление нарушается; нередко это связано именно с понятием "родной язык". В национально-русском двуязычии есть случаи, позволяющие говорить о таком нарушении, – когда нет соответствия "национальность – родной язык – владение языком".

В существующих определениях понятия "родной язык" указывается, что это язык, изученный в раннем детстве, независимо от воли человека. Два этих признака присутствуют во всех немногочисленных определениях языка, приводимых в известных словарях лингвистических терминов. Имплицитно выражен еще один признак: родной язык всегда единственный. На самом деле все обстоит гораздо сложнее.

Можно выделить две различные ситуации: родной язык – единственный; родных языков несколько. В первом варианте родным языком признается один язык, но он не всегда соответствует национальности, вопреки стереотипу.

В 1990, 1994 и 1995 годах при финансовой поддержке РГНФ в Белоруссии были проведены три серии опросов среди различных социальных групп (рабочие, студенты). На вопросы о родном языке белорусы отвечали так: 1990, русский – 28%; 1994, русский – 27%; 1995, русский – 21%. При этом все эти респонденты указали, что они владеют русским и белорусским языками.

Аналогичный опрос в Карелии дал другие результаты. Русским владеют все опрошенные карелы, карельским владеют 54%. Карельский назвали родным – 8% опрошенных, русский – 58%.

В Республике Коми из числа назвавших национальность коми (коми-зырянин) владеют коми (коми-зырянским) 87% (русским – 100%). Коми-зырянский назвали родным 73% опрошенных, русский – 15%.

Был проведен еще один опрос в достаточно уникальном регионе с компактным проживанием армян на территории Ростовской области (Мясниковский район, п. Чалтырь). Все опрошенные армяне владеют русским и армянским языками. Ни один из них не назвал родным языком русский.

Итак, мы видим, что назвавших русский язык родным больше всего в Карелии. Вызвано это целым рядом обстоятельств, существенных для формирования языковой ситуации в этой республике. Можно было бы предположить, что карельский отвергается в качестве родного по причине его незнания, но цифры этого не подтверждают. Какое-то количество, менее половины респондентов являются выходцами из смешанных семей.

Основные причины кроются в области национально-языковой политики, которая здесь проводилась. Результаты опроса свидетельствуют

о высокой функциональной нагрузке русского языка. Но они говорят и о другом. Процесс ассимиляции здесь продвинулся настолько, что вытеснил карельский язык из этнического самосознания, которое основывается на других компонентах. В карельской этноцентрической модели нет противопоставленности "свой-чужой" по языку.

Иное объяснение можно дать фактам, засвидетельствованным в Белоруссии. Здесь эффект противопоставленности "смазан" близким языковым родством, но осознание себя белорусом в целом не страдает, так как есть другие компоненты национального самосознания. В трех сериях наших опросов динамики практически не наблюдается. Видимо, белорусское национальное самосознание в данный момент основано в большей мере на культурных, духовных ценностях. Это естественный результат длительного белорусско-русского двуязычия, социальная значимость которого была всегда велика в этом регионе.

В Республике Коми положение несколько иное. Коми язык не утратил статуса родного языка, хотя функционально его значимость меньше, чем роль русского языка.

Во всех трех регионах (Белоруссии, Карелии, Республике Коми) мы обнаруживаем разные ситуации, связанные с соответствием родного языка национальности и знанием национального и русского языков. Оказывается, что вопреки научным и бытовым представлениям у сотен тысяч людей (а наши опросы в достаточной мере представительны) национальность не совпадает с родным языком.

Многие из опрошенных чувствуют неестественность такого положения (монолингвальные и этноцентрические представления очень устойчивы и являются коллективными бессознательными стереотипами). Эти люди, видимо, желая избежать неловкости, ментального дискомфорта, находят выход в том, что признают родными два языка.

Если ситуация, когда родной язык не соответствует национальности, социолингвистами признается (хотя и с большими оговорками), то два родных языка вызывают, как правило, резкое неприятие.

Такая реакция связана, в первую очередь, с отрицательным отношением к весьма популярному в советское время тезису о русском языке как втором родном языке всех наций и народностей. Говорили и писали даже о новой общности (социалистической нации), языком которой, естественно, должен был стать русский язык.

Ясно, однако, что явление, обнаруженное в наших исследованиях, не имеет ничего общего с этим лозунгом. Каждый случай, когда респонденты называют родными два языка, является реальным следствием целого комплекса причин. Ученые, как правило, отрицают саму возможность существования двух родных языков еще и потому, что продолжают находиться в плену бытовых языковых стереотипов.

В 1990 году русский и белорусский назвали родными 33% опро-

шенных в г. Минске (рабочие). В 1994 году – 40% (студенты), в 1995 – 34% (студенты). Приходится констатировать, что при ослабленном этноцентризме выбор варианта "два родных языка" оказывается наиболее бесконфликтным, наиболее приемлемым. Мотивация выбора очевидна: в одном случае респондент владеет только русским языком, но так как он указывает национальность "белорус", то в соответствии с личным стереотипом отмечает и языковую идентификацию "своей" национальности; в другом случае он действительно владеет двумя языками с детства, оба воспринимает как родные, но "помнит" о национальной принадлежности.

Такая картина наблюдается в регионах, где много семей разнонациональных. Очевидно, что причина очень большого количества людей, считающих родными два языка в Карелии, вызвана во многом именно этим обстоятельством.

Наконец, есть языки, которые никто не считает родными. Это пиджины, смешанные языковые состояния, выполняющие коммуникативные задачи в общении представителей различных языковых коллективов (Контактологический энциклопедический словарь-справочник. М., 1994. С. 279–303). Этот факт ставит точку в шкале соотносительности национальности и родного языка, которая приобретает следующий вид: один язык (совпадающий с национальностью) – один язык (не совпадающий с национальностью) – два родных языка (один из которых совпадает с национальностью) – языки, которые не признаются родными, т.е. не имеют национальной принадлежности. Со всей определенностью сюда следует отнести и пиджины на основе русского языка.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 96-04-06333).

Язык прессы

**"Управлять" надо умеючи**

*Н. В. МУРАВЬЕВА,
кандидат филологических наук*

Неудачи в управлении могут быть не только у политиков. Речь идет об управлении грамматическом. Кажется, любой школьник знает, что *узнать* можно *о чем-то*, а *выяснить* – *что-то*, *исключить* – *из чего-то*, а *стереть* – *с чего-то*, если *рассказ* – *то о чем?*, а если *тема* – *то чего?* И тем не менее в газетах, на радио и на телевидении мы постоянно встречаемся с "необычным" (с точки зрения нормативных рекомендаций) управлением. Чаще всего журналисты неправильно выбирают падеж (и связанный с падежом предлог). Вот только несколько примеров ошибочного управления. Сравним их с правильными формами:

«Из "Клепзнакомства" узнаешь, сколько лет Деду Морозу и откуда он; "Клепсовет" ненавязчиво объясняет, как принимать подарки, готовить угощения и домашние игры, а смешливые "Заклепки" *информируют про* всякие обычаи» (газета "Сегодня"): [информировать *о чем*];

«Поединок у Майами между "Хит" и "Хорнетс" завершился разгромом гостей – 116:95. Что дало возможность наставнику "Майами" Пэту Райли слегка перевести дух и более оптимистично *взглянуть в будущее*» (там же); [взглянуть *на что*];

"Если вы хотите конституционного порядка в Чеченской республике, *сотрите из* памяти детей все, что они пережили за 461 военный день" (Вечерняя Москва): [стереть *с чего*];

"...вопиющее *несоответствие* грандиозного комплекса с долей нашего реального присутствия в этой экзотической стране, былых амбиций с нынешними реалиями" (Известия): [несоответствие *чего-чему*, между *чем* и *чем* или только с *чем*];

"...отчитываться за работу": (НТВ, "Сегодня". 7 октября 1995): [отчитываться в *чем?* И (реже) *о чем*];

"Багаж, за столетия накопленный народной музыкой, настолько велик, что именно *в нем*, как это ни парадоксально (? – *Н.М.*), сегодня возможно *черпать* самые свежие идеи в поп-музыке" (АиФ. 1996. № 19): [черпать *из чего*].

"Поначалу англичане и французы были *бессильны против* этих летающих гробов проклятых бошей (цепеллинов. – *Н.М.*)" (газета "Сегодня"): [бессильны *перед*].

Нередко в предложении – по-видимому, под воздействием деловой речи, которая активно проникает сначала в документальную журналистику, а затем и в массовые издания, – появляется "лишний" предлог:

"Петербургский фонд имущества, занимающийся приватизацией объектов недвижимости Санкт-Петербурга, столкнулся в последнее время с *трудностями по* пополнению городской казны". (Газета "Сегодня"): [трудности *чего*];

«Между тем украинские ультранационалисты-западники политически блефуют на дефиците энергоресурсов, злобно муссируют *тему о* "проклятых кацапах" (то есть русских), которые якобы "утесняют ридну Украину", лукаво "забывая", что они-то как раз и приложили первыми руку к разъединению Украины с Россией...» (Советская Россия): [тема *чего*];

"...*новости о* погоде" (ОРТ, "Утро"): [новости *чего*];

"...*разъяснение о* том, что..." (НТВ, "Сегодня". 7 октября 1996): [разъяснение *чего*];

"...удалось выяснить *подробности о* ходе следствия" (Известия): [подробности *чего*] – эта ошибка журналиста объясняется неудачным порядком слов в предложении.

Бывает, что говорящий или пишущий создаст "оригинальное" управление: слово вообще не требует управления, а журналист "заставляет" слово "управлять":

"...спортсменку дисквалифицировали *от* любых соревнований" (РИА–радио, 24 сентября 1996): [дисквалифицировать можно *кого* и *когда*];

"*Впечатляли* крестьян *от* встреч с главой президентской администрации Николаем Егоровым, отдавшим селу большую часть своей

жизни, и потому весьма убедительным в доводах" (Российская газета. 1996. 11 июля): [впечатлять может *кто-что* и *кого-что*].

Почему такие ошибки так часто встречаются в СМИ? "Простота" речевых решений почти всегда возникает на основе широко понимаемой аналогии:

рассказ – тема
 (чего?)
о чем? → о чем?
исключить – стереть
 (с чего?)
из чего? → из чего?
узнать – выяснить
 (что?)
о чем? → о чем?

Подобная аналогия возникает или потому, что два слова оказываются сходными по смыслу (узнать = выяснить; дисквалифицировать = отстранить), или потому, что между словами есть связь по смежности (тема–рассказ), или потому, что из существовавшего ранее сочетания какая-то единица исключается, а "ее" управление передается оставшемуся слову. Логика журналистов во всех этих случаях проста: если можно в одном случае, позволительно и во всех ему подобных, даже если это обычная ошибка. Так под напором "нового отношения" к языку не может устоять и самая устойчивая часть языковой системы – *грамматика*.



ИЗ ЖИЗНИ СЕМИНАРСКОЙ

О.А. АНИЩЕНКО,

кандидат филологических наук

Появлению духовных семинарий предшествовало основание в XVII веке Киевской академии. Петр I своими указами 1714, 1716, 1720 годов о повсеместном образовании и просвещении духовенства вменял в обязанности каждому епархиальному архиерею учредить в своем доме школу для образования "детей священно-церковно-служительских".

Всем священнослужителям предписано было высылать своих сыновей в возрасте от восьми до семнадцати лет в открывавшиеся при Епархиях духовные училища и семинарии. Обучение детей духовенства было делом новым, необходимость которого осознавалась не всеми, и добровольная отдача священнослужителями сыновей в школу встречалась редко. Это нашло отражение в известной песне-плаче родителя, отправлявшего своих детей в семинарию и проливавшего горькие слезы, прощаясь с ними, не надеясь более увидеться:

Все мои знакомцы и вся моя родня, соберитесь сюда.
Посмотрите, какая на меня пришла беда!
Детей моих от меня отнимают.
И в проклятую Семинарию на муку собирают...

Чтобы принудить отцов отдавать сыновей в духовные школы, а детей заставить заниматься, Петр I постановил: "которые в тех школах

учиться не захотят, ни в попы на отцовские места, никуда не посвящать, и в подьячие и ни в какие чины, oprичь солдатского чина не принимать" (Надеждин К. История Владимирской духовной семинарии. Владимир на Клязьме, 1875). Семинарист 40-х годов XIX века Евгений Грязнов вспоминал о сочувствии простых людей к положению детей духовенства: "Бывало, встретится где-нибудь мужик-прихожанин или женщина, останоятся поговорить с попovichем и... непременно погоуют о предстоящей ему неволе, об этой неизбежной для церковников обязанности и как бы повинности" (Грязнов Е.В. Из школьных воспоминаний бывшего семинариста Вологодской семинарии. Вологда, 1903).

Духовные школы, где воспитывались дети церковнослужителей, носили закрытый характер. Все годы обучения (6 лет в училище, 6 в семинарии) дети были оторваны от родительского крова и отгорожены от внешнего мира не только каменной стеной вокруг школы, но и спецификой обучения и воспитания в духовно-учебных заведениях. Науки, которые им преподавались и которые те пытались усвоить с помощью зубрежки, имели чисто религиозный, догматический характер. Не только представители светского образования, но и лица духовного сана отмечали зубрежку, застой и схоластику как характерные черты семинарского воспитания, которые составляли его особенности (Антонов А. Некоторые черты семинарского воспитания // Духовный вестник. Харьков, 1863. Т. IV).

В духовных школах запрещалось чтение классической литературы, всячески ограничивались развлечения: "...в семинариях, – писал О. Мышцын, – были запрещены вечера, танцы, дневные прогулки, посещение театров, и вообще начальство всячески оберегало воспитанников от соприкосновения с внешним миром" (Мышцын О. О духовных семинариях. Оттиск из № 7–8 "Богословского Вестника" за 1905 год. Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры).

Эта замкнутая, обособленная жизнь и воспитание, основанное на беспрекословном повиновении начальству и розге, которая считалась не только наказанием, но "особенного рода нравственною и умственною гимнастикою, служащею для укрепления духа и прояснения разума", наложили на учеников духовных школ свой отпечаток. "Здесь, – писал бывший семинарист В. Новицкий, – получались первые задатки той забитости, какую мы встречаем в людях, называемых семинаристами, первые слои той жесткой, типичной коры, которую семинаристы долго не изнашивают и за стенами заскамейной жизни..." (Новицкий В. Кое-что из жизни заскамейной // Современник. СПб., 1863. № 6.)

В учебном заведении, где о поведении ученика судили по внешнему виду, по тому, насколько он безмолвен перед начальством и достаточно ли низко кланяется, школьника каждодневно подвергали унижению и оскорблению. От этого появились характерные черты, которые отме-

чались в литературе XIX века как типично семинарские – робость, запуганность: "...Семинаристы народ разговорчивый, но разговорчивый не со всеми. В семинарии он запуган, со светскими робок, боится говорить" (Решетников. Ставленник); недоверчивость, подозрительность: "Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы" (Гоголь. Тарас Бульба); угнетенность, смиренность: "...не заметно ни той вертлявости, ни того угнетенного смирения, ни той осанки, которыми семинарист отличает себя" (Малеонский М. [В. Бурцев] Владиславлев. Повесть из быта семинаристов и духовенства. В 2-х т. СПб., 1883. Т. 1).

Семинариста узнавали по нескладной походке, грубым манерам, неумению держать себя в обществе. Само слово *семинарист* ассоциировалось у представителей светского общества с маловоспитанностью, грубостью, забитостью: "Когда Белинский ушел после ужина, хозяин дома произнес, вздыхая: – Вот, господа, каково мое положение... Я должен принимать к себе, ласкать этого семинариста, который ни стать, ни сесть не умеет в порядочном доме, из одного только. чтобы он не обругал меня публично..." (Панаев И.И. Литературные воспоминания. М., 1988); "– Фи!.. Я думала вы какой-нибудь порядочный человек, а вы семинарист... И еще пускаетесь в рассуждения!.. Как это глупо!.. Молчали бы лучше..." (Малеонский М. Указ. соч.).

Семинаристы всюду подвергались насмешкам, и редко кому из них удавалось пройти по городским улицам, не услышав обидных окриков или оскорбительных прозвищ: "Общество же наше с какой-то брезгливостью, если не с презрением относится ко всему духовному сословию... клички: кутейник, попovich нередко произносятся с целью показать, что от таких людей доброго нечего ждать"; "...народ и теперь злорадно величает семинаристов жеребьячьей породой, кутьехлебами и т.п. неместными эпитетами" (Сычугов С.И. Записки бурсака. М.–Л., 1933); «Прислуга фамильяричала с учениками, обращалась с ними на "ты", именовала "жеребьячьей породой", "прокислой кутьей" и "дармоедами"» (Измайлов А.А. В бурсе. СПб., 1903).

Такое негативное отношение вынуждало духовных воспитанников держаться подальше от общества, а чем больше они осознавали свою отчужденность, изолированность, тем больше сплачивались между собой. "В целом своем, – писал М. Малеонский, – семинаристы составляют совершенно самостоятельное общество, отдельно от всех других обществ или сословий. Они имеют свои, им только свойственные привычки, свои нравы и обычаи, свои игры, песни и шутки, свои предания и легенды, свой взгляд на вещи, свое общественное мнение и даже условный язык" (Малеонский М. Указ. соч.).

Школьный возраст характеризуется, по определению исследователя детских тайных языков Г. Виноградова, "наибольшей самобытностью,

напором сил, яркостью..., настойчивым обособлением от жизни и быта взрослых. Обособленность подчеркивается стремлением детей к созданию своего языка" (Виноградов Г. Детские тайные языки. Иркутск, 1926). У бурсаков встречаются два вида тайных языков, своеобразное изменение широко распространенного в детской среде тарабарского языка. В письме этнографа-лингвиста Е.И. Титова Г.И. Виноградову сказано: "Мы в детстве охотно говорили на тарабарском языке, который вывезли из бурсы мои дяди" (там же).

Чтобы привлечь к себе внимание и заинтересовать окружающих, бурсаки пользовались и так называемой заумной речью, когда отдельные слова, обычно иностранные, связывались не по смыслу, а выразительной интонацией. Так, желая заинтриговать и поразить других "знанием" классических языков, они создавали видимость разговора, например: «Идет он с таким же, как сам, гусем. Один гусь говорит: "альфа, вита, дельта", другой гусь говорит: "эпсилон, зита, фита"» (Помяловский Н.Г. Очерки бурсы // Полн. собр. соч. СПб., 1904. Т. 2).

Необычная, засекреченная речь привлекала школьников, и они то говорили *по-шицы*, то переставляли слоги или вставляли особые звуковые сочетания в слова, то просто создавали и пускали в ход "словечки" – жаргонизмы, подобные отмеченным А. Воронским в романе "Бурса": "За столами слышен бурсацкий жаргон: *отшил, обучурел, взбутетенил, спасаюсь, получи с лунца, казнеташи, оптяга, китяга, кирдюк*" (Воронский А. Бурса. М., 1966).

Жаргонизмы давали возможность семинаристам вести разговоры в присутствии непосвященных лиц. Известно, что новгородские семинаристы объясняли появление у них термина *затележить* "покурить" желанием избегнуть возможности случайно проговориться перед начальством (Зеленин Д.К. Семинарские слова в русском языке // Русский Филологический вестник. Варшава, 1905. №№ 3–4). Скрыть свои истинные намерения удавалось и от новичков, еще не успевших познакомиться с новым смыслом хорошо известных и "безобидных" на первый взгляд слов. Так, например, к вновь поступившему подходили с вопросом: *Хочешь пива?* Ничего не подозревавший новичок отвечал утвердительно и подвергался ударам и насмешкам, так как *пивом* в бурсе испокон веков назывался не напиток, а варварский обычай бурсаков ударять ладонью по кулаку, приставленному к чужой голове. При этом раздавался звук, отдаленно напоминавший звук откупоренной бутылки (Измайлов А.А. Указ. соч.). Подобным образом "знакомили" новичков с "местными" словами и в других школах прошлого столетия.

Школьники, издеваясь и смеясь над новичком, давали понять, что не постигнувший их "языка" им не ровня, всегда может оказаться в незавидном положении, будет испытывать страх и неуверенность. Как,

например, герой А. Измайлова "В бурсе": "На экзамене, брат, учителя не проведешь. А мы с тобой еще к тому же, наверняка, будем *проскрипторами*. От непонятого слова у Ильинского забежали по спине мурашки. – Что это за штука? – спросил он, чуть не бледнея" (Курсив мой. – О.А.). В древнем Риме списки осужденных на смерть или в ссылку назывались *проскрипциями*, отсюда в семинарском кругу слабо успевающих учеников шутливо и с долей сочувствия называли *проскрипторами* (от лат. *proscriptio* букв. "письменное обнаружение" + суффикс *-тор-*).

Семинарский жаргон восполнял недостаток экспрессии в речи учеников, делал ее более живой, а это для детей, оторванных от семейного крова и рвущихся на волю, было спасительным средством от скуки, однообразного времяпрепровождения. Отсюда и появление таких понятий, как: *смолотить* "найти что-нибудь выходящее из ряда обыкновенного, добиться чего-нибудь такого, что кажется невозможным"; *бенефис* "ответ по нескольким предметам в один день"; *приурочить* "присвоить"; *селитовать* "разговорить"; *однопартники* "сидящие за одной партией"; *блинник* "изнеженный городской ученик"; *домашники* "что-нибудь съестное, привезенное из дому" и др.

Жаргон семинаристов можно рассматривать и как своеобразный протест против окружающего их мира зубрежки, наушничества, запретов и наказаний, против норм поведения, навязываемых педагогами. В сочиненной семинаристами песне поется о недовольстве учеников; о зреющем протесте:

Житье в школе не по нас:
В один день секут сто раз!
О, горе! О, беда!
Секут нас навсегда!
Не дадут и погулять –
Все уроками морят..."

(Литературные опыты воспитанников Владимирской духовной семинарии в начале XIX столетия. Владимир, 1901).

В слове *подскуливаться*, корень которого заимствован, вероятно, от основы общеупотребительного *скулить* ("о животном: жалобно повизгивать, выть. *Перен.* Докучать жалобами, ныть, плакаться"), семинаристы выразили те чувства, с которыми они относились к доносчикам: «Колесо у нас невзлюбили с первого раза. Он постоянно "подскуливался", после уроков бежал по коридору за преподавателем, говорил ему что-то, а лицо его было умильное и ласкательное» (Добронравов Л. Новая бурса // Заветы. 1913. № 9).

Появление семинарской лексики и фразеологии объясняется и необ-

ходимостью именования новых предметов, явлений и понятий ученической среды. Так, Д.К. Зеленин приводил примеры семинарских выражений *плюсовать* или *просить плюс* в значении "за неимением своего табаку, просить товарища оставить половину папиросы или большой окуроч, которым можно было бы еще раз или два затянуться" (Зеленин Д.К. Указ. соч.).

У Н. Смоленского зафиксировано другое школьное слово с этим значением – *шить*: "Папироска тогда обходила двоих-троих. Минут за пять до конца урока неимущий обращается к товарищу, парты через две: Ванька, *шью!* Это значило: оставь мне покурить" (Смоленский Н. Очерки современной бурсы: Картины, типы, типики. М., 1906. Курсив мой. – О.А.). В русском языке нет слова для описанной просьбы, такой обычной в семинарском кругу, что и побудило семинаристов дать ей название. Подобным образом объясняется и рождение названий бурсацких игр, различных действий, занимаемых должностей в классе и т.д.

Семинарский жаргон представляет собой закономерно возникшее жизненное языковое явление, а его изучение дает возможность выявить лексемы, не подвергавшиеся ранее лингвистическому анализу, раскрыть пути достижения их выразительности, необычности, проследить историю их распространения.

Казахстан
Кокиетау



О некоторых числовых символах

Е. Г. БАГАЕВ

На всех ступенях истории своего развития человек связан с процессом счета окружающих предметов и каких-то измерений. Его представления о числе неразрывны с его жизнью. До сего времени существуют племена, у которых счет ограничен числами *два* или *три*. Все то, что превосходит *два* или *три*, равносильно понятию "много" и не поддается счету, находится за пределами разума. Поэтому наибольшие числа натурального ряда считались таинственными и священными, наделялись сверхъестественными свойствами. Многим первобытным племенам числа служили в качестве примитивного средства связи, некоторого особого языка, что тоже было одной из причин присвоения отдельным числам определенных мистических и таинственных свойств.

Особое место среди них занимают числа *три*, *семь*, *девять*, *тринадцать*.

Число три – символ трех христианских добродетелей: веры, надежды, любви. У христиан также существует представление о Пресвятой Троице – о едином Боге, выступающем в трех лицах: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. У православных христиан церковные обряды и ритуалы сопровождаются трехперстным крестное знамение пальцев правой руки; трехкратно погружают в воду при таинстве крещения; чтобы защитить покойника от злых духов, у его изголовья зажигают три свечи и т.д.

В Библии, кроме Пресвятой Троицы, число *три* упоминается неоднократно: принесение в жертву *трехлетних* без изъянов *теляца, овна или козы; три ветви лозы; три корзины; трехкратный молитвенный подвиг Иисуса Христа* в Гефсиманском саду перед судом над ним; водружение *трех крестов на Голгофе* и многое другое.

В народе говорят: *Бог Троицу любит; Троица Троицей, а трех свечей на стол не ставь; Без Троицы дом не строится; Троица перстов крест кладет; Треклятый* – о человеке, проклятом всеми земными и небесными силами.

Мистическими свойствами с древнейших времен наделялось число *семь*. Еще в древнем Вавилоне люди наблюдали на ночном небе семь подвижных планет, которые, якобы, вращаются вокруг Земли: это Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. Вавилоняне обожествляли их и почитали как богов, полагая, что семь богов, поселившихся на них, управляют судьбами народов. С числом этих небесных тел, по-видимому, связано происхождение семидневной недели лунного месяца. Так как Луна на небосклоне видна в течение 28 суток, то этот период делится на четыре фазы по семь суток. Каждый седьмой день считался священным и объявлялся днем отдыха от трудов. Поэтому число *семь* в древнем Вавилоне имело магическое значение. Для арабов, ассирийцев, евреев это число было клятвенным.

Число *семь* часто встречается в Библии. Там сказано, что существующий мир, в том числе и человека, Бог сотворил в течение шести дней, а седьмой день отдал отдыху, благословил и освятил его. Там же говорится о *семи тучных и семи тощих коровах* и таких же *семи колосьях*, означающих *семь лет изобилия и семь лет голода* на земле Египетской; об обращении к *семи церквам*; о *семи чашах Божьей ярости*; о *семи светильниках огненных*. Отправляясь в плавание во время Всемирного потопа, кроме членов своего семейства, Ной взял в свой ковчег *семь пар чистых* и две пары нечистых животных. Пасхальные празднества, посвященные счастливому исходу евреев из Египта, продолжаются семь дней. У греков: *семь чудес света, семь мудрецов* и др. *Крепко, как семь* – клятва французов. У православных христиан: *семь таинств, семь смертных грехов, семь недель Великого поста* и др.

В народе говорят: *Седьмой день от Бога; И праведник семижды в день падает* (или: *согрешает*); *Семи пядей во лбу* – об умном, расудительном, талантливом человеке; *Земля от семи бед спасет; Семь бед, один ответ; На седьмом небе* – нахождение человека на вершине блаженства и т.д.

Всемирно известен панический страх перед числом *тринадцать* (чертовой дюжиной). Истоки этого поверья относятся к древним временам,

когда у некоторых народов основанием системы счисления было число двенадцать. Оно замыкало для них натуральный ряд, поэтому за числом 12 шло неизвестное, непостижимое, зловещее, значит, и опасное число. По их представлению, оно могло приносить только несчастье.

В христианской религии *тринадцать* – несчастливое число – исходит от библейского Иуды Искарюота. По преданию, он был одним из тринадцати участников "Тайной вечери" и оказался предателем. За тридцать сребренников Иуда выдал своего учителя его врагам, в результате чего Христос был судим и приговорен к позорной казни – распятию на кресте. Отсюда пошло поверье: тринадцатый гость за столом может вызвать смерть одного из них, поэтому для тринадцатого следует ставить маленький отдельный столик, а после окончания застолья всем вставать вместе, одновременно, чтобы дьявол не смог определить свою жертву.

Из-за страха перед числом *тринадцать* в некоторых странах, например, в Америке, Англии, во многих гостиницах отсутствуют комнаты с таким номером, лифт не останавливается на тринадцатом этаже и т.д.

Следует отметить, что суеверный страх перед числом *тринадцать* не всегда имел место. В древней Руси возводили храмы с тринадцатью куполами, как, например, Киевская София или первый Софийский собор в Новгороде.

В сборнике "Гадания народов мира" сказано, что страх перед числом *тринадцать* имеет ограниченную географию распространения. В индийском Пантеоне находится тринадцать Будд. Количество мистических дисков на китайских и индийских пагодах равно тринадцати. В Японии в Храме Артеуса хранится священная сабля с тринадцатью предметами таинств, образующими ее рукоятку. А в Мексике поклоняются тринадцати богам, и это число священно. Американский Орел имеет такое же количество перьев на каждом крыле (Гадания народов мира. М., 1995).

Число сорок у русских стоит особняком. *Сороками* считали мелкие предметы и меха, например, в Сибири мех соболя продавался *сороками*: связками шкур, вложенными в мешок по сорок штук в каждом (на полную шубу). За верную службу в награду из царской казны выдавали шкуры *сороками, полусороками, четвертьсороками. Дороги твои сорок соболей, а на правду цены нет*, говорили в старину.

Общеславянское числительное *четыре десята* было вытеснено словом *сорок*, которое заняло прочное место в счете предметов.

Число *сорок* обозначало "много". По преданию, в Москве *сорок сороков* церквей (1600), т.е. очень много, хотя количество церквей в Москве было чуть больше 800.

В православной церкви 22 марта день памяти 40 мучеников – это день весеннего равноденствия. По народной примете: *Сороки* – с 22 марта до 30 апреля – отсчитывают 40 морозов и заморозков.

В Египте сорокалетие воспринималось прекраснейшей порой в жизни мужчины, а правление в течение сорока лет – весьма продолжительным. Согласно библейским рассказам, *сорок дней и сорок ночей* лился дождь во время Всемирного потопа; в течение *сорока лет* Моисей водил евреев по пустыне, прежде чем добраться до Земли обетованной, *сорок дней и ночей* он молился на горе Синай и после этого обнаружил десять заповедей Божиих. *Давид и Соломон* царствовали по *сорок лет* каждый. *Сорок дней и ночей* Иисус Христос молился в пустыне без еды и питья. Отсюда – Великий Пост перед Пасхой. *Спустя сорок дней после Пасхи* Он вознесся на небо (праздник Вознесения).

В православном обряде памяти усопшего особо выделяются *три, девять, сорок дней*, а также год после смерти человека – *третины, девятины, сороковины* и годовщина. По религиозным представлениям 2 дня после смерти человека душа его находится около тела, на Земле, ищет себе место. На третий день она покидает тело и возносится на небеса, и в течение шести дней наблюдает обитатели святых и красоту рая, она созерцает жизнь и радости праведных, забывает скорбь, которую она чувствовала, находясь в теле и после выхода из него. Затем в течение тридцати дней душа подвергается мытарствам в аду, наблюдает за разнообразными мучениями грешников, и на *сороковой день* предстает перед Всевышним Судьей, который определяет место ее вечного пребывания: в раю небесном или в аду – геенне огненной. С глубокой древности плач по умершему продолжается в течение сорока дней (*сорокоуст*). В Сороковой день справляются большие поминки. Здесь, по поверью, душа покойного последний раз сидит за столом и поэтому на стол для нее выставляется тарелка с едой и кладется ложка.



ГЕОГРАФИЯ НЕКОТОРЫХ ФАМИЛИЙ

*А.В. СУПЕРАНСКАЯ,
доктор филологических наук*

До фамилии как неперменной части официального именованя человека существовали семейные прозвания и индивидуальные прозвища, нередко игравшие ту же роль в идентификации личности. Чаще всего, именно они стали записываться в документах как фамилии. Где и когда возникли прозвища и прозвания – вопросы, тесно связанные между собой. Ведь границы Русского государства с течением времени менялись. В предлагаемом очерке мы попытаемся локализовать некоторые фамилии и на основе этого предположительно указать время их возникновения.

Москвит, Рязанцев, Вяземский

Точнее всего на место, где создалась семья, указывают фамилии типа *Вяземский, Калужский, Смоленский*. Такие фамилии были не только у князей, но и у крестьян. Дело в том, что в прошлом *смоленскими, тверскими, костромскими, рязанскими* именовались не только и не столько жители соответствующих городов, сколько население

целых губерний, в том числе и жившее далеко от ее центра. Традиция эта восходит к древним временам, когда еще не было целостного Русского государства, а были Тверское, Рязанское и т.д. княжества. Традиция сохранялась до недавнего времени. Одни мои знакомые жили недалеко от Вязьмы и значительно ближе к Москве, чем к Смоленску, но о себе говорили: *мы смоленские*, и поехать в город для них означало поехать в Смоленск.

Также к географическим названиям восходят фамилии *Тверитинов*, *Вязьмитинов*, *Брянцев*, *Рязанцев*. Но они образованы от названий жителей по месту их проживания, т.е. свидетельствуют о том, что носившие их семьи были выходцами из соответствующих городов. Обратим внимание на разнообразие суффиксов и на отсутствие новейшего, стандартизирующего, порой насильственно привносимого незнающими людьми – *-чанин*: *вологодец* и *вологжанин*, *костромич* и *костромитин*, *москвитин*, *москвитянин*, *москвич*.

Множество фамилий образовано от названий менее известных мест: *Белогорцев* – Белогоры, Белые Горы

Белозерцев – Белозеро

Великосельцев – Великоселье

Кривозерцев – Кривозеры

Колоярцев – Колояр

Переславцев – Переславль

В большинстве своем такие фамилии локализуются в центральных, северных и северо-западных областях России, т.е. в первоначальных границах Московского государства, а следовательно, принадлежат к числу наиболее ранних.

Фамилии *Москвин*, *Воронежев*, *Костромин*, *Самарин*, *Калугин* образованы либо от прозвищ людей по месту их происхождения (Москва, Калуга), либо это более поздние искусственные образования. В числе нестандартизированных (т.е. не оформленных суффиксами *-ов*, *-ин*) нам встретились фамилии *Самара*, *Калуга*, *Кашира* и ряд подобных.

Топография

Из основ фамилий можно восстановить топографию старинных поселений, особенности домов и дворов. Например, нам встретилась серия фамилий с компонентом *-хата*, преимущественно нестандартизированных: *Великохатько*, *Малохатко*, *Кривохатько*, *Новохатько* и *Новохацкий*, *Новохаткин*, *Низкохатный*, *Семихатов*, а также *Кривохижа* и *Новохижин*.

Части большого поселения в некоторых местах назывались концами, углами или кутами. Отсюда фамилии *Наконечный*, *Накутный*, *На-*

угольный, Заугольный. По центру села обычно проходила улица. Чаще всего она была одна и называлась просто *Улицей*.

Фамилии *Заднеулица, Заулочный, Заулощнов* свидетельствуют о том, что их носители жили далеко не в центре. К селу вела дорога из других мест. Отсюда фамилии *Задорогин, Задорожный, Подорога, Подорожный*, а также *Припутнев, Сухопутов, Кривопутских*.

Непременным объектом большого селения был базар, откуда фамилии *Базаров, Базарных, Забазарный, Забазарных*. Указание на бывшее место обитания жителей дают также фамилии *Запрудинев, Запрудский* (за прудом), *Заставный, Набережный, Нагорный, Крайгородов*.

Мнимая топография

Многие фамилии, происходящие, казалось бы, от слов, обозначающих различные топографические объекты (*двор, лес, луг, реку*), при более пристальной проверке оказываются происходящими от географических названий, в основах которых лежат обозначения этих объектов. Конечно, фамилии *Базаров* и тем более *Забазарных*, скорее, связаны с местом, где велась торговля. Но есть и населенные пункты *Базар* в Житомирской и Читинской областях. Фамилии *Задворов* и *Задворнов*, конечно, могли быть даны человеку, находящемуся за двором, вне двора. Но есть и поселения с названиями *Двор* и *Задворка*. Фамилии *Стародворский* и *Стародворцев* могли быть у жителей старого двора. Но есть и поселения *Старый Двор* и *Стародворское*. Таким же образом фамилия *Стародомский* связана с названием населения *Старый Дом, Новодворский* – с населенным пунктом *Новый Двор, Надворный* – с *Надворная, Новобережкин* – *Новые Бережки, Острогорский* – *Острогорка, Сухорецкий* – с поселениями *Сухая Речка, Сухоречка, Сухоречье*, которых очень много.

Заграничный. Пограницкий

В наши дни, когда в продаже много заграничных вещей, фамилия *Заграничный* воспринимается как новая и даже несколько претенциозная. Но в далекие времена река *Граничная* отделяла Тверское княжество от Новгородского. И, естественно, приезжавшие из-за этой реки люди именовались *заграничными*, а жившие по ее течению – *пограничными*, или *пограницкими*. В последнем случае налицо старинная суффиксация, как в словах *аглицкий/англицкий, свицкий, т.е. шведский*.

Обратим внимание на особую роль приставок *по-, за-* и некоторых других в образовании фамилий (а в более раннее время – прозваний

людей). Эти приставки иной раз входят в состав географического названия, от которого образована фамилия (*Залесский* – от *Залесское* или *Залесье*), а иной раз – не входят, образуя с ним свободное сочетание, от которого и образовалась фамилия (*Залуговский* – за рекой Луг). Приведем некоторые примеры, где в скобках указаны географические названия. В составе географического названия имеются приставки: *Загородный* (Загородное, Загородье); *Задонский* (Задонск); *Задубровский* (Задубровье); *Закаменный* (Закаменная); *Замойский* (Замой); *Замостский* (Замостье); *Погарский*, *Погарцев* (Погар); *Погромский* (Погромное); *Поплавский* (Поплавы); *Подвысоцкий* (Подвысокое); *Подгорский* (Подгорье); *Подмощевский* (Подмошки, Подмостье); *Подборский* (Подборье); *Подосинкин* (Подосинки).

А теперь продемонстрируем примеры, в которых приставки не входят в состав географических названий (в скобках также – географическое название): *Заозерин*, *Заозерский* (Озера, Озеры, но есть и Заозерье); *Зарощинский* (Роща); *Засельский* (Селы); *Затучный* (Тучна); *Загребнев* (Гребнев, Гребнево); *Заонегин* (Онега); *Занеманец* (Неманец – река); *Заостров*, *Заостровцев*, *Заостровский* (города Остров и Островец); *Зараев*, *Подрайский* (Раево, Раевка); *Заржевский* (Ржев, Ржевка); *Засторожных* (Сторожно); *Засульский* (река Сула); *Засурский* (река Сура); *Подсурин* (река Сура); *Подлуцкий* (река Лука); *Подгорин* (река Горин); *Подпригорчук* (река Пригор); *Подпечкин* (Печки); *Подлужный* (Лужно); *Подъельский* (река Ёль); *Побережский* (Бережок); *Поберезовский* (река Березовая); *Колобродов*, *Набродов* (Броды); *Коловодов* (Водо).

"География" подмосковной избы и крестьянской усадьбы

Жилище каждого человека имеет свои неповторимые особенности, как и сами люди. Но в каждой местности дома имеют общие черты, продиктованные условиями климата и хозяйственного уклада. В деревнях и селах бывшей Московской губернии дома "глядели" окнами на улицу, а за домами шли сады, огороды, надворные постройки. В дом вело крыльцо, с которого попадали в сени, а затем – в жилую избу. При входе была широкая лавка, на которую можно было поставить вещи, сесть, снять грязную обувь. Сердце избы – русская печь – находилась неподалеку от входа. Печь была "естественной" границей между лучшей частью избы и хозяйственной.

Большой знаток русских народных говоров Анастасия Филимоновна Войтенко с группой диалектологов долгие годы изучала, как назы-

ваются крестьянские усадьбы, дома и их части, различная утварь в разных частях бывшей Московской губернии. На основе данных, полученных в диалектологических экспедициях, был составлен Атлас народных говоров Московской области. Анализ карт этого атласа показывает, что одни и те же объекты могут называться в разных частях губернии по-разному. В то же время есть слова, известные по всей губернии, но некоторые из них меняют свое значение от села к селу.

Так, ряд домов, составляющий одну сторону улицы, называется в одних деревнях *посад*, в других – *порядок*, *прогон*, *сторона*, *заулок* и даже *слобода*. Огород на задворках именуется *задворица*, *капустник*, *огуречник*, место для коровы под дворовым навесом – *котух*, *денник*, *закутка*, *клев*, *клеть*, *коровник*, *кошара*, *куток*, *овшаник*, *стойка*, *стойло*, *хлёв*. Помещение для мелкого скота называется *омшаник*, *овшаник*, *мошеник*, *мышник*, *подклеть*, *теплушка*, *овчарник*, *закута*, *клев*, *клеть*. Лучшая комната в доме – *горница*, *горенка*, *зал*, *зала*, *изба*, *красная изба*, *перёд*, *передняя (изба)*, *светёлка*. Непарадная, проходная часть избы, примыкающая к печи – *входная*, *куфня*, *кухня*, *обедельная*, *придел*, *приделка*, *приделок*, *прируб*, *пристенок*, *теплушка*, *топлюшка*, *упечь*. Расстояние между печью и стеной зовется *кут*, *куток*, *заулок*, *закутье*, *закутка*, *загатник*, *загатка*, *запечек*, *запечка*, *запечник*, *запечь*, *переулок*, *закоулок*, *заулок*, *проулок*, *приулок*, *опечек*, *залавок*, *заход*, *заходчик*, *кутник*, *прогалок*, *лазья*, *пролётка*, *промежник*, *простенок*, *судник*.

Широкая лавка, приделанная к стене от угла до входной двери, – *конёк*, *конник*, *койник*, *кутник*, *постав*, *полавочник*, *примост*, *судня*; лавка на кухне, на которую ставят посуду, – *судня*, *судник*, *судница*, *судновка*, *посудня*, *залавок*, *чалода*.

Многие из этих слов мы находим в основах фамилий. При этом, в связи со столь широким разбросом значений, очень трудно определить, что же было положено в основу слова или прозвания, от которого образована фамилия. Очевидно одно: возникли такие фамилии в самом центре России, в старых московских говорах и, возможно, существовали как семейные прозвания не одно столетие.

Петух в разных частях Московской губернии называется *кочет*, *горлан*, *додон*, *долдон*. В иных местах *додоном* зовут дурака. К характерным сибирским словам относится *паут* – род овода, *слепия*, *дюба* – кончик носа. Таким образом, фамилии *Паутов*, *Дюбин* оказываются "моложе" подмосковных, поскольку Сибирь заселялась значительно позже, чем Московия.

Речь города Москвы и окружавших ее мест сыграла особую роль в формировании национального русского языка. В Москву со времён

татаро-монгольского нашествия сходились люди отовсюду, ища защиты, трудоустройства, лучшей доли. Они имели и свои особенности речи, говора, которые проникали в речь Москвы. Здесь же все привнесенные черты "переплавлялись" в единое московское наречие, не похожее ни на древние московские говоры, ни на какие-либо другие. В древности в Москве "окали". Современное московское произношение – "акающее". Не сохранились в Москве и многие слова, характеризовавшие говоры старого Московского княжества.

Приведем небольшой список фамилий, в основах которых имеются слова, характерные для речи старого Московского княжества: *Закут, Закуткин, Закутин, Закутнов, Залавский, Загатин, Загацкий, Запечников, Горенкин, Горенков, Капустников, Клевнов, Клевцов, Котухов, Кошарин, Куткин, Кутников, Огуречников, Подклетнов, Примостков, Порядков, Посадский, Посудневский, Стойков, Стойлов, Слободин, Судников, Судницын.*

Фамилии с утерянной основой

Некоторые фамилии, происходящие от малоизвестных географических названий, с течением времени теряют свою основу, а человеческая пытливость старается их сблизить с каким-нибудь более доступным разумению словом.

Город *Торжок* раньше назывался *Новый Торг*, откуда прилагательное *новоторский*, название жителей *новоторец, новоторка* и фамилии *Новоторский, Новоторцев, Новоторкин*. Но так как *Новоторский* непонятно, иногда превращают эту фамилию в *Новаторский*.

Фамилия *Суховодов* кажется абсурдной. Как же вода может быть сухой? Но есть река *Сухая Водла*, от которой, по-видимому, и происходит названная фамилия.

В западных говорах башня называется *вежа*, ср. названия населенных мест *Беловеж* и *Белая Вежа*. Но в центральных областях слово *вежа* неизвестно. И вот встречаем фамилии *Беловешкин, Коловершин* и *Коловержин*.

В украинских говорах звук, более всего похожий на русское *ы*, пишется с помощью букв *и*. Так появляется фамилия *Вишнепольский* вместо *Вышнепольский* (от *вышнее*, т.е. верхнее поле), ни с какими *вишнями* эта фамилия не связана.

От названия города *Каргополь* и названия его жителя *каргополец* закономерна фамилия *Каргопольский*. Но этот северный город в Центральной России плохо знают. И вот появляются варианты: *Кардапольцев, Кардопольцев, Коргопольцев*.

Родное место М.В. Ломоносова называется *Холмогоры*. Но оно не имеет отношения ни к холмам, ни к горам, а происходит от финского *Калмакари*, что иногда переводят как "могилы на острове". Местное русское население произносит *Колмогоры*, откуда фамилии *Колмогоров*, *Колмогорцев*. В центре появляются варианты этой фамилии *Комогоров*, *Комогорцев*, *Коногоров*, в каждом отражен поиск основы.

Чужая география

Фамилии *Константинопольский*, *Иерусалимский*, *Римский*, *Александрийский* и ряд других соотносятся отнюдь не с русскими географическими названиями и не отражают места рождения человека или не свидетельствуют о том, что семья приехала из Рима или Александрии. Эти фамилии датируются XIX веком и связаны с русской традицией давать семинаристам искусственные фамилии, при этом по возможности – разнообразные. Одним из источников такого разнообразия оказались добавочные имена святых, почитаемых Русской церковью: *Кирилл Александрийский*, *Андрей Критский*, *Захарий Римский*, *Герман Константинопольский*, *Методий Цареградский*, *Евстафий Антиохийский*, *Макарий Египетский*, *Петр Афонский*, *Епифаний Кипрский* и другие. Перечисленные географические названия входят в круг представлений христианской культуры и осуществляют не столько географическую, сколько культурно-историческую идентификацию, становясь символами определенной социальной среды.

Помимо хорошо известных географических названий, в именах некоторых святых встречаются абсолютно неизвестные, искаженные или неясные, как то: *Спиридон Тримифунтский*, *Евпраксия Алумнийская*, *Григорий Акраганский*. И подобные имена стали основами русских фамилий. При этом малоизвестные географические названия в разных церковных источниках писались по-разному, и это разнообразие проникло в русские фамилии. Например, добавочное имя святого Евгения Гортунского в разных церковных календарях писалось – *Гортинский*, *Гординский*, *Кортинский*, отсюда фамилии *Гортинский*, *Гординский*, *Кортунов* (*Гортуна* – город на Крите); добавочное имя Акакия Мелетинского писали также *Мелитинский*, ср. фамилии *Мелетинский*, *Милитинский*, *Милитицкий*, *Мелетицкий* (*Мелетин* – город в Армении); имя Давида Солунского писали также *Селунский*, ср. фамилии *Солунский*, *Селунский* (*Солун*, *Солунь*, *Солоники* – город в Греции); Павел Фивейский значился в некоторых источниках как *Фивенский*, откуда фамилии *Фивейский* и *Фивенский* (*Фивы* – древний город, *Фивейская страна* – в Верхнем Египте).

Орфографические колебания, встречающиеся в старинных рукописных источниках в хорошо известных географических названиях, отразились и в написании современных русских фамилий: Кирил *Ерусалимский*, Александр *Иерусалимский* – фамилии: *Ерусалимский* и *Иерусалимский*; Симеон *Перский/Персидский*, Патрикий *Прусийский* – фамилии: *Перский*, *Персидский*, *Прусинский* (древнерусское *прѣси* – "персы").

Варируют фамилии *Критский* и *Крицкий* (от названия острова *Крит*), *Синайский* и *Синаевский* (от названия горы *Синай*), *Смирнский* и *Смирницкий* (от названия города *Смирна*).

Такого же происхождения – от добавочных имен святых, почитаемых русской церковью – фамилии *Анапольский*, *Анкирский*, *Аретинский*, *Афонский*, *Дивногорский*, *Иконицкий*, *Кариевский*, *Катанский*, *Корсунский*, *Малеев*, *Малеин*, *Малеинов*, *Митулинский*, *Моравский*, *Никеев* и *Никиев*, *Нисский*, *Парийский*, *Сигрианский*, *Синадский*, *Тарский/Тарской/Тарсков/Тарских*, *Цареградский*, *Херсонский*.

По сравнению с перечисленными фамилиями, образованными от добавочных имен святых, восходящих к далекому от России географическим названиям, фамилии, образованные от аналогичных добавочных имен собственно русских святых (канонизированных на Руси), выглядят достаточно скромно: *Печерский/Печерских*, *Федоровский*, *Обнорский*, *Глушицкий/Глушецкий*, *Лужецкий*, *Озадовский*, *Дымский*, *Писемский*, *Коневский*, *Вельский*, *Мальский*, *Медынский*, *Опочинский/Опоцкий*. Эти фамилии связаны с названиями отдаленных обителей.

Фамилии: *Новгородский/Новгородских*, *Киевский*, *Черниговский*, *Ростовский*, *Невский*, *Казанский*, *Рязанский*, *Виленский/Вилинский*, *Прилуцкий*, *Белозерский*, *Смоленский*, *Ярославский*, *Владимирский*, *Суздальский*, *Галицкий/Галицких*, *Костромской*, *Кашинский*, *Ржевский*, *Туровский*, *Вологодский*, *Московский*, *Заозерский*, *Калужский*, *Вятский*, *Волынский/Волынских* – в равной мере могли быть образованы и от добавочных имен святых, и непосредственно от названий городов и губерний, не имея отношения к церкви.

"Круговорот" имен, фамилий и географических названий

В некоторых случаях бывает трудно определить, что от чего образовано: фамилия от географического названия или наоборот, географическое название от фамилии, сравните фамилию *Задорнов* и населенный пункт *Задорный*, фамилию *Гославский* и озеро *Гославское*.

Иной раз "цепочки" вполне очевидны: имя *Владислав*, город *Владиславль*, фамилия *Владиславлев*; река *Вад*, фамилии *Завадский*, *Завадовский* (т.е. за рекой *Вад*), остров *Завадовского*; река *Тура*, населенные места *Верхотурье*, *Верхотурово* (т.е. в верховье реки *Туры*), фамилия *Верхотуров*, остров *Верхотурова*.

Петербургский филолог Анна Владимировна Сулова провела сопоставительный анализ встречающихся в Санкт-Петербурге фамилий и названий населенных пунктов Ленинградской области. Приведем небольшой список по ее материалам (в скобках название населенного пункта): *Беседин* (Беседа), *Важин* (Важины), *Вещев* (Вещево), *Всеволожский* (Всеволожск), *Высоцкий* (Высоцк), *Гатчин* (Гатчина), *Горбунков* (Горбунки), *Гуслин* (Гусли), *Доможиров* (Доможирово), *Дюнин* (Дюны), *Зеленцов* (Зеленец), *Ижорин* (Ижора), *Изварин* (Изварино), *Кипенский* (Кипень), *Колпин* (Колпино), *Коневцев* (Коневец), *Копорский* (Копорье), *Кронштатов* (Кронштадт), *Лиговский* (Лигово), *Лугин* (Луга), *Льзин* (Лъзи), *Опокин* (Опока), *Полуев* (Полуй), *Удельнов* (Удельная).

И в этом списке одни фамилии произошли от географических названий (*Кронштатов* с утерей *д*, имеющегося в написании названия города), другие – могли сами быть источником географического названия (*Колпин* – *Колпино*, *коль* – название цапли), и без специального архивного исследования об этом нельзя судить наверняка.

Заканчивая обзор фамилий, так или иначе связанных с географией, отметим, что в большинстве своем они формировались в центральных, северных и северо-западных областях России. Многочисленные фамилии с приставкой *за-* как бы очерчивают расселение основного состава русскоязычного населения в XV–XVI веках и говорят о том, что семьи с подобными фамилиями жили дальше от центра, чем большинство жителей, за реками *Вад*, *Сура*, *Сула*, *Дон* и даже *Дунай*. Чем дальше от центра России располагается географический объект, от названия которого образована такая фамилия, тем новее сама фамилия, тем позже она возникла. Некоторое удивление вызывает фамилия *Белонильский* (от названия одного из истоков африканской реки *Нил*). Возможно, "хозяин" этой фамилии был великим путешественником.

Топономика



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Можайск (1231)*. Город в Московской области. Название дано по реке Можая (Мжая, Можай, Можайка). Вполне вероятно балтийское происхождение гидронима: латышское *mežs* "лес", "дерево", или литовское *mažas* "малый", как предполагают многие исследователи. Отсюда *Можая* "лесная" или "маленькая" река. Гидроним находится в ареале западно-балтийской гидронимии и именно поэтому надо отдать предпочтение литовскому материалу, т.е. *Можая* "маленькая" река. *Можайское водохранилище* – производное от *Можайск*.

можайцы, можаец, устар. можайчи, можайтин; можаяне, можайчане
можайский, -ая, -ое

Можайцы-поросятники. Имелось в виду занятие можайцев: выращивание и продажа поросят. *Можайский ветер*. Речь, видимо, идет о том, что жителям Можайска и его округи приходилось попадать под власть то московского князя, то других – соседних, поскольку Можайск находился на северо-западной окраине Московского княжества, а это напоминало как бы колебание чего-то под ветром.

Мокша. Река, правый приток Оки. Название связано с этнонимом *мокша*, народом, говорящим на одном из мордовских языков, но что первично – этноним или гидроним, сказать трудно. Исследователи счи-

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. № 1.

тают, что в основу его в общефинское время лег речной термин *мокс* (*мокии*) "исток", "поток, текущая вода", "приток". В.А. Никонов связывал этот гидроним с типом на *-кша*, что свидетельствует в пользу его первичности и вторичности как этнонима, т.е. народ назван по реке. Современное название ее у мордвы *Йов* "река" (Фасмер. Этимологический словарь русского языка), *Ю* "река" (Никонов. Краткий топонимический словарь). Название неоднократно повторяется в бассейне Оки (в среднем и нижнем течении): озеро *Мокша* (*Мокшенское*), река *Мокша* (в басс. Клязьмы) и др.; производные: *Мокшала*, *Мокшарлейка*, *Мокшенка*, *Мокшино* и др. (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки).

мо́кшинские и мо́кша́нский, *-ая, -ое*

Мо́кша. Поселок в Мордовии, населенный мокшей. Название этнонимического происхождения – по мордовскому народу мокша. См. *Мокша* – река.

мо́кша́нцы, мо́кша́нец, мо́кша́нка

мо́кша́нский, *-ая, -ое*

Мо́кшалёй. Эрзянское село в Мордовии. В названии два мордовских слова: этноним *мокша* и *лей* эрзянское "овраг, речка". Гидронимы и топонимы подобного типа широко известны на территории Мордовии и соседних областей: *Мокша*, *Мокшала*, *Мокшанская Вершина*, *Мокшарлейка*, *Мокшино* и др. (Смолицкая. Указ. соч.).

Мо́кша́н. Поселок в Пензенской области. Название происходит от этнонима *мокша* – одного из мордовских народов.

мо́кша́нцы, мо́кша́нец, мо́кша́нка

мо́кша́нский, *-ая, -ое*

Мо́бно. Рабочий поселок в Московской области. Название антропонимического происхождения – от фамилии *Монин*. В основе же фамилии, видимо, личное имя (прозвище?) *Моня*, известное у русских с XVI века: Моня Моисей – рыболов, 1585 г., Псков (Веселовский. Ономастикон). Топоним неоднократно повторяется в названиях санатория, дома отдыха, железнодорожной станции.

мо́бно́нцы, мо́бно́нец, мо́бно́нка

мо́бно́нский, *-ая, -ое*

Морга (Морго веле). Эрзянское село в Мордовии. Другое название *Старая Морга*, рядом с ним было село Малая Морга (совр. с. Пуркаево). Исследователи видят в основе топонима слово *морга* (*морго*) "сук, сучок дерева", что в отношении селения значит "выселок, починок" от соседнего населенного пункта (Инжеватов И.К. Топонимический словарь Мордовской АССР). *Морга* часто встречается в топонимии Мордовии: *Новая* и *Старая Пичеморга*; *Новая* и *Старая Теризморга* и др.

морговцы, морговец
морговский, -ая, -ое

Мордóвская Пишля. Мокшанское село в Мордовии. Название довольно прозрачно: *мордовская* показывает этнический состав населения; *пишля* – это видоизмененное сочетание, состоящее из *пеше ляй* "липовая речка" или "липовый овраг". В республике есть село *Татарская Пишля*.

пишляйский, -ая, -ое

Мордóвская Полянка (Мокшень Куженя). Мокшанская деревня в Мордовии. Первая часть названия свидетельствует об этническом характере населения; вторая часть – *полянка* "вырубка, росчисть, чистое место в лесу". Мордовская форма названия *Мокшень Куженя* значит *Мокшанская поляна (полянка)*, где *Куженя* – это "поляна".

полянский, -ая, -ое

Морбóзовы Борки. Село в Рязанской области, известное с 1676 года. Название довольно прозрачно. Первая часть – фамилия *Морозов*, принадлежавшая, по мнению историков, владельцу здешних земель боярину Морозову, воспитателю царя Алексея Михайловича, отца Петра I. *Борки* – уменьшительная форма множественного числа от *бор* "сухое, возвышенное место", "сосновый лес (на сухом месте)". Слово *бор* имеет большой спектр значений, объединенных общим признаком сухого, возвышенного места и растительности на нем. Сюда же относятся и развившиеся в нем противоположные значения с общим признаком низменного болотистого места (Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. М., 1969; Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов).

Слово *бор* и его производные *борок*, *боровина*, *боровица*, *заборье* широко известны в качестве топонимов Центральной России (*Бор*, *Борок*, *Сосновый Бор*, *Боровицкий холм* в Москве, *Боровичи*, *Заборье*, *Подборье* и т.д.), а также на других славянских территориях.

боркóвцы, морбóзовцы и морозовоборкóвцы
боркóвский, морбóзовский и морозовоборкóвский, -ая, -ое

Моршáнск. Город в Тамбовской области, образованный в 1779 году. Название, вероятно, дано по реке Морша, на которой стоит город. В основе гидронима можно видеть русское диалектное *морша*, откуда *моршень* "складка, неровность, морщина на поверхности чего-л". В качестве географического термина оно может иметь значение, связанное с неровной поверхностью земли (холмы, овраги) в том месте, откуда вытекает река Морша.

моршáнцы, моршáнец, моршáнка
моршáнский, -ая, -ое

Моршанцы-сомятники, т.е. любят употреблять в пищу рыбу сом, которая водится в тех местах.

Мосальск (1231)*. Город в Калужской области. Объяснение на русском материале затруднительно. Ср. *масали* "грибы маслята" (?), князь Масальский, которому принадлежал город в XVI веке. Не исключено балтийское происхождение, поскольку город находится в ареале балтийской гидронимии.

мосальцы, мосалец и мосальчәне, мосальчанин, мосальчанка, *местн.*

мосали́, моса́ль, *устар.* мосо́л, мосали́тин

моса́льский, *-ая, -ое*

Где побудут масали, там три года не соли. Имеется в виду остроумие и меткость слова жителей Мосальска, подтверждением чему служит следующая поговорка: *масали – гуторы, загуторили воеводу (гуторить "говорить")*.

Москва́ (1147)*. Город, столица Российской Федерации, главный город Московской области. Впервые упоминается в летописи под 1147 годом записи, но археологические раскопки на территории московского Кремля показали, что здесь было поселение уже в X веке. Название городу дано по Москве-реке, на которой он основан, при впадении в нее реки Неглинной.

Этимология окончательно не выявлена. Из многочисленных гипотез заслуживает внимания финно-угорская, славянская и балто-славянская версии.

На финно-угорском материале гидроним *Москва* связывают с коми *моск. моска*, что значит "тёлка, корова" и с *ва* "вода, река", "мокры́й", то есть Москва-река – это Коровья река, Кормилица (как корова). Такое предположение сделал К.А. Попов (Зыряне и Зырянский край // Известия общества любителей естествознания, истории и этнографии. М., 1874. Т. XIII. Вып. 2). Эта версия, поддержанная в свое время историком В.О. Ключевским, не представляется убедительной. Коми никогда не проживали в бассейне Москвы-реки и даже поблизости от неё. К тому же отсутствует общий ареал гидронимии на *-ва* между Москвой-рекой и коми-гидронимией.

По новой версии А.П. Афанасьева, гидроним *Москва* можно связать с пермскими языками, к числу которых относится и коми-язык, а именно, с коми *моск* "приток" и *ва* "река", из чего следует, что Москва – это Река-приток или Река с притоком, предположительно Ока и Москва или Москва и Яуза (Финно-угорская гипотеза топонима Москва // Вопросы географии. М., 1985. Сб. 126). Эта версия может быть отклонена по тем же причинам, что и предыдущая. К тому же, редкая река не является притоком, тем более не имеет своих притоков.

Известно предложение С.К. Кузнецова объяснить *Москву* на почве вымершего мерянского языка как *маска* "медведь" и *ава* (*ва*) "мать, жена" (Русская историческая география. М., 1910. Т. 1). Из этого следует, что *Москва* – это Медвежья река или река Медведица. В пользу этого предположения свидетельствует факт проживания народа меря поблизости от бассейна Москвы, в частности, в бассейне Клязьмы, на что есть прямое указание в "Повести временных лет" и наличие топонимии, связанной с этнонимом *меря*, в частности река Нерская (левый приток Москвы-реки) имеет более раннюю форму *Мерьская*. Сомнение вызывает факт отсутствия другой топонимии в этом регионе, определяемой как мерянская, и даже отсутствие гидронимии на *-ва*.

Известна попытка объяснить гидроним *Москва* из прибалтийско-финских языков, в частности из финского-суоми: *моск* из *musta* "черный", "темный" и коми *ва* "вода, река", из чего следует, что *Москва* – это река с темной, мутной водой (Погодин М.А. О происхождении имени Москва // Московский вестник. М., 1829. Ч. 3). Такая интерпретация не соответствует действительности, так как вода в *Москве* имеет нормальную прозрачность и цвет. К тому же неубедительным представляется объяснение каждой части названия из разных языков, далеко отстоящих друг от друга.

Финно-угорские версии о происхождении названия *Москва* разрабатываются и в настоящее время. Известно, что *Москва*-река в верховьях называлась *Коноплевка*, и только пройдя через озеро Михалевское (Москворецкая Лужа), получает имя *Москва*. Исследователь С.Г. Халипов (Что значит Москва? // Советское финно-угроведение. 1984. № 2) делает предположение о том, что *Коноплевка* и *Москва* – это одно и то же название, но в разных языках, *Москва* – финно-угорское, мерянское, а *Коноплевка* – славянское, русское. Основным аргументом является тот факт, что в некоторых финно-угорских языках название *конопли* созвучно с именем *Москва*: в мордовском *мушка* "конопля", в марийском *муш* "пенька". *Коноплевкой* река была названа потому, что в ней мочили коноплю, или сеяли коноплю на её берегах. Принятию этой версии мешает хотя бы такое обстоятельство, что коноплю и лён мочили не в реках, где есть течение, а в стоячих водоемах – озерах, которые получали название *Мочильное*, *Мочилище* и т.п. Сеяли коноплю на полях, а не по берегам рек. К тому же, сомнительно, чтобы в западном регионе, далеко от места летописного проживания мери, появилось мерянское название *Москва*.

Довольно убедительной гипотезой о происхождении имени *Москва* является славянская, хотя среди славянских версий есть неубедительные и даже примитивные. Наиболее авторитетные славянские этимоло-

логии выдвинуты такими большими учеными, как акад. С.П. Обнорский, Г.А. Ильинский, П.Я. Черных, польский славист Т. Лер-Сплавинский, акад. О.Н. Трубачев. Славянская версия наиболее обоснованна с точки зрения лингвистической, но поначалу анализу подвергалось не имя собственное, а апеллатив, лежащий в его основе. Имя собственное выводилось из ономастического ряда, анализировалось не двухкомпонентное название *Москва*, а *Москы*, входящее в апеллятивный ряд *буки* (*буква*), *тыки* (*тыква*) и т.п. *Моск* (с чередованием *-ск* – *-зг*) имел в древнерусском языке значение "быть вязким, топким" и "болото, сырость, влага, жидкость". Из этого следует, что Москва-река болотистая, топкая (Ильинский Г.А. Река Москва // Известия Российской Академии наук. Серия 6. 1922. Т. 16).

Гипотеза П.Я. Черных основана на диалектном характере апеллятива *москы*, имевшего, по его мнению, в языке вятичей значение "влага". В языке кривичей ему соответствовало слово *вълга* в том же значении, из чего следует, что Москва, так же, как и Волга – топкая, болотистая река (Черных П.Я. Две заметки по истории русского языка. I. К вопросу о происхождении имени Москва // Известия АН СССР. ОЛЯ. 1950. Т. 9. Вып. 5). Это предположение подтверждается данными других славянских и некоторых балтийских языков: в словацком *moskwa* "влажный хлеб в зерне" или "хлеб, собранный с поля в дождливую погоду"; в литовском *mazgōti* "мыть, полоскать", в латышском *moskat* "мыть". Предположение П.Я. Черных, как и Г.А. Ильинского, подтверждается и тем фактом, что Москва-река берет начало из болота (или из озера, напоминающего болото), получившего впоследствии название *Москворецкая Лужа*.

Принятию этой гипотезы мешает то обстоятельство, что славяне появились здесь в I тыс. н.э., не раньше VI–VII веков, а берега Москвы-реки были заселены еще в III–II тыс. до н.э. Трудно предположить, что эта большая, основная водная артерия региона была безымянной или сразу после прихода сюда славян изменила свое название. Как правило, такие реки сохраняют свое прежнее название, которое по устной традиции передается из века в век.

Славянское (ляшское) происхождение гидронима Москва не исключает и акад. О.Н. Трубачев. Основой его предположения являются факты сходных с *Москвой* топонимов на территориях западных славян и в среднем Поочье. На территории Польши, в частности, есть название *Moskiew*, почти полностью совпадающее с формой первого упоминания о Москве – *Московъ*. О.Н. Трубачев полагает, что это название, как и другие, сходные с ним, перенесены в бассейн Москвы-реки вятичами с ляшской территории (Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971.

№ 6). Но не исключено, что на ляхскую территорию название *Moskiew* попало так же, как и в среднее Поочье, из Прибалтики, точнее из региона тесных балто-славянских языковых контактов. Тот факт, что название *Москва* О.Н. Трубачев помещает в Этимологическом словаре славянских языков (Вып. 20), хотя и с оговоркой, что "не следует сбрасывать со счетов возможность вятического происхождения", он склонен считать его славянским.

Наиболее убедительной, но не окончательной, является версия, основанная на балто-славянских языковых контактах. Ее выдвинул и развил в ряде работ, в частности, в статье «"Baltica" Подмосковья» (Балтославянский сборник. М., 1972) акад. В.Н. Топоров. Он членит гидроним *Москва* на *Моск-* и *-ва*; при этом связывает *-ва* не с уральским регионом аналогичной гидронимии на *-ва*, а с прибалтийским (*-ва*, *-ава*). Гидронимы этого типа известны в Поочье и верхнем Поднепровье: *Измоста*, *Болва*, *Нигва*, *Протва* (*Поротва*) и др. Кроме того он находит формальную и семантическую общность между *моск* и балтийским *mask*. Это выражается в аналогичности чередования конечного согласного *моск*, *мозг/мож*!, *моц/мост*!, *мок* (*мак*) в русском и *mask*. *mazg*, *mast*, *mak* в балтийских, а также в семантической общности обеих групп "жидкий, мягкий, сыкотный, гнилой" и "бежать, убегать; идти", "бить, ударять, постукивать". Эти факты дают возможность В.Н. Топорову видеть в основе гидронима *Москва* апеллятив, относящийся к балто-славянскому лексическому пласту периода активных балто-славянских языковых контактов.

Балто-славянский путь поиска представляется наиболее перспективным. Не лишены основания и версии, исходящие из финноязычного материала, но пока они разрабатываются медленно и без достаточной аргументации.

В разысканиях происхождения и значения названия *Москва* необходимо учитывать такие обстоятельства. Город никогда не назывался *Московъ*. в Ипатьевской летописи под 1147 годом записи – форма винительного падежа. Похожая форма – на *Московъ* приведена в Лаврентьевской летописи под 1177 годом, а в другом списке этой летописи в том же тексте приведена форма на *Москву*. Во всех остальных летописных записях, относящихся к XII веку, фигурируют только формы *Москва*, *Московь*, с *Москвы*, до *Москвы*, на *Москву* и т.п.

Москва никогда не имела названия *Кучково*. В тексте из Ипатьевской летописи под 1176 годом записи "идоша с ним до Кучкова рекше до *Москвы*" речь идет об обозначении менее известного *Москва* через более известное *Кучково*. Слово *Кучково* было древнее *Москвы* и известнее. Этот летописный текст не самый ранний (на 30 лет позже пер-

вого упоминания о Москве) и единственный. Обнаружение в берестяной грамоте XII века названия Кучково (Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990–1993 гг. // Вопросы языкознания. 1994. № 3) не затрагивает проблемы именованя Москвы. Оно лишь свидетельствует о том, что где-то, видимо, в Новгородской земле, был топоним *Кучково*, возможно, образованный от прозвища *Кучко*. Такой принцип номинации в русской топонимии самый распространенный, более половины русских сел и деревень получили название по прозвищу (фамилии) первопоселенца или одного из владельцев.

москвич, москвич, москвичка; *устар.* москóвцы, москóвец, москóвка; москвитяне, москвитянин, москвитянка; московиты, московит *неодобрительно* о русских вообще – москаль, моска́ль, моска́лька москóвский, *-ая, -ое*; москворéцкий, *-ая, -ое*.

Москва белокаменная – по зданиям, построенным из белого камня.

Москва златоглавая – по позолоченным куполам (главам) московских церквей.

Москвичи – водохлебы (любят пить чай).

Москвичи – чивоколки (по икающему московскому произношению): *чивó, бидá, систрá*.

Москва не сразу строилась – так говорят, когда нельзя сразу, за короткий срок сделать что-либо большое, значительное. Имеется в виду тот факт, что Москва как город формировалась в течение нескольких веков (с 1147 года).

Москва от копеечной свечи сгорела. Так говорят тогда, когда хотят показать, что иногда незначительная, мелкая причина может иметь большие последствия. В основе этого лежат реальные факты: большой пожар в Москве в 1493 году начался от свечки в церкви Николы на Песках, а пожар 1737 года – от свечи в доме Милославских.

Москва слезам не верит. Слезы, жалобы, мольбы не помогут в решении важных дел и поступков, не вызовут сочувствия. Нужна активная деятельность, поступки, а не слова, эмоции, жалобные речи.

Питер – голова, а Москва – сердце России.

Москва кому мать, а кому мачеха.

Говорят в Москве, а слышно по всей России.

Продолжение следует

Топонимика

К 850-летию Москвы

Как вы заметили, читая Топонимический словарь Центральной России, существует множество гипотез о происхождении названия *Москва*.

Публикуемый далее материал более подробно, чем Словарь, освещает историю этого вопроса от древних времен до наших дней.

Автор предлагает и свою версию...



"Москва! Как много в этом звуке..."

*А.Л. ШИЛОВ,
доктор химических наук*

А что, собственно, отзывается в этом звуке, точнес – сочетании шести звуков: *Москва*? Много воды унесла Москва-река с того момента, когда неведомый нам обитатель среднерусской равнины впервые произнес это имя. Шли годы, века, тысячелетия. Менялись поколения,

да и сами народы. Слово-название продолжало жить, но значение его все более затуманивалось, пока не стерлось окончательно.

Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке.
Поют над ним узорной вязью саги
Беззвучные, на звучном языке.
Но лик сокрыт – опущено забрало.
Но плащ истлел на ржавленной броне.
Был воин, вождь, но имя Смерть украла
И унесла на черном скакуне.

И. Бунин

Тем, кто занимается происхождением географических названий, не раз приходилось сталкиваться с беззвучием звучных имен. Но если немота названия, скажем, маленькой подмосковной речки *Ушма* (очень интересного и загадочного) переносится, в общем-то, безболезненно, то название реки, давшей имя столице России, озвучить пытались и пытаются очень настойчиво. Этим вопросом, начиная с XVI века, занимались историки и археологи, географы и лингвисты, писатели и краеведы, богословы и дьяконы, химики и радиоэлектронщики. Анализировалось, в первую очередь, название реки *Москва*, ибо в паре названий реки и города оно является более древним, то есть первичным. Об этом говорит не только общее правило о старшинстве имен рек (сколь-либо крупных) над парными к ним именами населенных пунктов. Есть указания на то, что поселение, ставшее впоследствии Москвой, первоначально называлось *Кучково/Кучков*: "до Кучкова рекше до Москвы"¹. Правда, запись легенды о боярине Кучко, владевшем землями по Москве-реке, датируется XVII веком. Но дети его Кучковичи, и Петр зять Кучков – лица исторические, участники заговора и убийства князя Андрея Боголюбского². Реальностью является и существование *Кучкова поля* в районе Сретенских ворот: "ров копати с Кучькова поля в Москву"³. Да и недавняя находка берестяной грамоты 2-й половины XII века: "шьль ти есьмь кучькъву ажъ" вроде бы подтверждает, что раннее название поселения, ставшего впоследствии Москвой, содержало имя его владельца⁴. Правда, *Кучково* было известно и в новгородских землях⁵.

О происхождении названия *Москва* высказывались самые противоречивые гипотезы. Его выводили из древнееврейского, иранских, тюркских, финно-угорских, балтийских, германских, славянских языков. Самая ранняя версия, зародившаяся в Западной Европе уже в XVI веке, производила его из имени шестого сына Афета – Мосоха и жены его Квы⁶. Еще в середине XIX века эта версия указывалась в этимологическом словаре географических названий Э. Адамса. Названию Москвы-реки приписывались и такие значения, как Мужская, Скиф-

ская, Христианская, Моховая, Мостковая, Приятная для Мыгья, Щавелевая, Конопляная и пр.⁷.

Но обратимся к более серьезным версиям.

Известно, что в III тыс. до н.э. в Подмосковье жили финно-угорские племена⁸. Этот факт послужил основой ряда "финских" версий происхождения имени реки. Так, по К.А. Попову, Москва на языке коми (пермская группа финских языков) значит "Коровья река": *мос(к)* "корова, телка", *ва* "вода, река"⁹. Ну что же, подобные названия известны, хотя Коровьими обычно называют реки, пересыхающие летом, когда их коровы переходят вброд. Многие реки носят, по разным причинам, название *Черная*, и вот в одной из версий странным образом соединились прибалтийско-финское *муста* "черный" и пермское *ва* "река"¹⁰. Наконец, А.П. Афанасьев полагает, что Москва это "Приток-река" или "Река с притоками" – из коми *мос(к)* "приток" и *ва* "река"¹¹.

К сожалению, все пермские версии подрываются весьма существенным обстоятельством: пермские племена не проживали в Подмосковье. Нет здесь и надежных примеров пермских топонимов. Ареал действительно пермских речных имен на *-ва* удален от Москвы на сотни километров к северо-востоку.

Исторически более оправданна мерянская гипотеза. Меря, известная уже не только по археологическим, но и по письменным памятникам, входила, как полагают, в число племен, говорящих на волжско-финских языках. Современные волжские финны – марийцы и мордва – живут к востоку от Москвы. Здесь же, но ближе к Москве, летописи зафиксировали родственные им племена мурома и мещера. В I тыс. н.э. меряне занимали территории как к северу и северо-востоку от Москвы (где особенно обильна мерянская топонимия), так и собственно Подмосковье, где, очевидно, местами соседствовали с балтами (о которых речь позже). О пребывании мери близ Москвы-реки уже при славянах говорят былые названия: волость *Усть-Мерска*, позднее – *Мерьский Стан* у устья реки Нерская (ранее – *Мерьская*); деревня *Старые Мери* и болотце *Мерьское* близ Звенигорода¹². В силу скудности данных о лексике мерянского языка "мерянское" *Москва* – "Медведица" было составлено С.К. Кузнецовым из марийского *маска* "медведь" и мордовского *ава* "мать, жена, самка"¹³. Кузнецов опирался на старую марийскую легенду, опубликованную Ф.И. Буслаевым¹⁴.

Что ж, в землях волжских финнов есть овраг *Маскалейка*, река *Мошкалей* (морд. *лей* "речка"), да и понятие "медведь" нередко в гидронимах: известны реки *Медведа*, *Медведица*, *Кондыля* (карельское "Медвежий ручей") и т.д. Но это построение не устраивает лингвистов по той причине, что марийское *маска* само было заимствовано в XIV веке из древнерусского *мечька* "медведица". "Финские" версии в

целом подверг критике Ф.И. Гордеев¹⁵. К нему присоединился В.В. Седов: "финно-угорские ареалы гидронимов на *-ва* связаны один с коми-пермяцким краем, второй – с Эстонией. В областях расселения мери, мордвы, веси такие названия неизвестны"¹⁶. Мы видим, что в имени *Москва* большей частью усматривают компоненты *Моск-* и *-ва* и именно анализ этих компонентов обычно служит доводом "за" или "против" той или иной гипотезы. Однако А.И. Соболевский предположил, что формы названия, встречающиеся в русских летописях, указывают на первоначальное не *Москва*, а *Москы*. Правда, увлеченный поисками ираноязычных скифов на просторах Восточной Европы, Соболевский и *Москы* возводил к индо-иранскому источнику со значением "Река-гонщица"¹⁷. Современными исследователями эта версия однозначно расценивается как неправдоподобная, хотя иранские следы в топонимии Подмосковья некоторые авторы продолжают искать.

Наибольшим признанием пользуется славянская версия имени *Москвы*, выдвинутая Г.А. Ильинским и поддержанная Г. Лер-Сплавинским, П.Я. Черных, М. Фасмером, а В.П. Нерознак даже пишет об окончательности решения¹⁸. Эта версия связывает гидроним *Москва* с корнем *моск-/мозг-* в значении "вязкий, топкий; болото, влага", к чему привлекают русские диалектные *мзга*, *мозг* "сырая, пасмурная, промозглая погода", украинское *москота* "слякоть", словенское *môzga* "месиво, грязь, грязная лужа", словацкое *москва* "влажный хлеб в зерне", литовское *мазготи*, латышское *мазгат* "мыть, полоскать". В качестве топонимического доказательства приводятся названия на славянских территориях: *Маска*, *Московка*, *Московица*, *Московец*, *Мозгави/Москвава*¹⁹. Несколько иначе трактует этот вариант О.Н. Трубачев: вслед за польским ученым Ф. Буяком он сравнивает ряд названий восточнославянских земель с названиями Мазовше и Хелминской земли, в частности – *Москва* с *Moskiew*. На основании этого сравнения он полагает, что название *Москва* перенесено с польских земель вятичами, которые "в Поочье воспроизвели фрагменты топонимического ландшафта своей далекой "ляшской" родины... Особое скопление западнославянских по происхождению местных названий (феномен, который не привлек должного внимания в нашей литературе, судя по тому, что, как и прежде, имеют хождение этимологии *Москва* из балтийского, из финского) приходится на Верхнее и Среднее Поочье"²⁰. На этом вопросе стоит задержаться, ибо и в отношении многих других названий ставится вопрос о перенесении²¹.

Прежде всего давайте выясним, что понимать под перенесением, ведь различные авторы порой вкладывают разный смысл в это выражение. В свое время М.П. Погодин, возражая Е. Снигиреву, писал: "При собственно московских именах *Драчи* и *Неглимна*, кои

встречаются и на Севере, автор замечает, что переселенцы могли дать одинаковое наименование рекам при переходе со своего пепелища на повоселье; такие имена могли произойти в разных местах от одинаковой местности"²². Последнее означает, что народ на новом месте именуется природные объекты с использованием привычных топонимических моделей. Тем самым новые названия оказываются внешне идентичны топонимам оставленной родины. Но это не лишает их самостоятельности, ведь они были созданы на новом месте заново.

На протяжении человеческой истории это явление происходило многократно, что и дало возможность привлечения топонимических данных для изучения древних миграций племен и народов. Понятно, что при таком "воспроизведении топонимического ландшафта" используется живая апеллятивная лексика, активная в данном языке в данный исторический момент. В противном случае акт номинации утратил бы важнейшую, необходимую функцию: характеризовать объект (отмечая его индивидуальные свойства), через эту характеристику выделяя его в ряду подобных.

В отношении названия *Москва* отметим, что в документированной древнерусской лексике не находится апеллятивов с корнем *моск-/мозг-*, которые могли бы образовать этот гидроним. Сколь-либо близким к искомому оказывается разве что древнерусское *музг* "тина", русское диалектное (рязанск.) *музга* "лужа; илистая непроточная речка, старица"²³ ср.: "за рекою по глубокий исток по Веленую Музгу"²⁴. Отметим и то, что упомянутые названия весьма далеки территориально от Москвы-реки. Правда, О.Н. Трубачев приводит название *Московая Ряса* в Рязанской обл. Но заметим, что в документах оно чаще, все же, встречается в форме *Мостковая Ряса*²⁵.

Иной вариант – когда на новом месте топонимы не создаются, а именно дублируют уже известные. Это снимает ограничения на их обязательную смысловую ясность на момент номинации, но вводит другие ограничения. Перенос "темных" названий вряд ли мог осуществляться спонтанно, без достаточно веских на то оснований. Оставив в стороне эпоху великих географических открытий и, тем более, позднейшие, весьма бессистемные именованья объектов на новоосваиваемых европейцами территориях и континентах, мы видим, что в древности перенесенными (в буквальном смысле слова) топонимами обычно оказывались ойконимы: *Галич, Звенигород, Переславль*. Иногда эти ойконимы тянули за собой оронимы или гидронимы. Так, каждый новый *Переславль* "обзаводился" своей речкой *Трубеж*. Помимо этого гидронима в окрестности ряда городов Ростово-Суздальских земель перекочевали с Киевской Руси названия рек *Ирпень, Лыбедь, Почайна*. Здесь отчетливо видно не стихийное народное онимотворчество, а акт

административный: князю требовалось подчеркнуть свои претензии, преемственность либо близость к великокняжескому столу. В случае названия Москвы подобных мотивов не просматривается.

Вторая потенциальная причина переноса топонима (пусть темного смыслом) – исключительное сходство объектов. Так с какой же польской рекой и чем так схожа Москва-река? Пока кандидатура на ее прототип не предложена.

Славянская версия подвергалась критике и с иных позиций. Так, В.В. Седов полагает, что с таким объяснением нельзя согласиться по историческим соображениям, ибо получается, что до прихода славян река была безымянной. Многие считают, что славяне усвоили имя Москвы-реки от своих непосредственных предшественников, коими в юго-западном Подмоскovie были уже не финны, а сменившие их балты. По современным представлениям первая волна балтского населения (фатьяновская культура) достигла Волго-Окского междуречья во II тыс. до н.э. Балтское племя *голядь на Поротве* (Протве), очевидно, родственное галиндам Птолемея и гольтескифам Иордана, упоминается Ипатьевской летописью под 1058 г. ранее первого упоминания Москвы (1147 г.). В.Н. Топоров показал, что значительная часть гидронимии западного и юго-западного Подмоскovie имеет отчетливо балтский характер²⁶. Согласно В.Н. Топорову, название восходит к **Маск-ава*, **Мазг-ава*. Здесь *-ава* трактуется как балтийский элемент, образующий речные названия. Элемент *-ва* в названиях рек (*Москва*, *Протва*, *Смедва*, *Болва*, *Моства*) прослеживается от Москвы на запад к верховьям Днепра, а дальше переходит в типичное для Прибалтики *-ава/-ува*: *Даугава/Даугува*, *Дайнава*, *Вирцава*, *Сесава*, *Абава*, *Иецава*, *Вайдава*, *Вардува*, *Митува*. Основу *маск-/мазг-* Топоров признает балто-славянской, имеющей значение "грязь, топь".

Итак, как и в славянской версии, балтийское *Москва* должно означать "Грязная (Болотная) река". Балтийская версия Топорова привлекательна прежде всего историко-топонимической основой. Археология подтверждает длительное пребывание балтов в этих местах, их топонимический фон довольно насыщен балтизмами. А что может не устраивать в этой версии? Отдаленность семантики привлекаемых балтских апеллятивов от той, что вкладывается в *Москва* "Болотная река". Настораживает и отсутствие *Mask-/Mazg-* топонимов в Прибалтике (автору удалось найти лишь топоним *Мушка-гравис* в Латвии, причем – на территории с древней финно-угорской топонимией. Возможно, он связан с ливским *muškes* "черника"). До сих пор неясно и происхождение *-ава/-ува* в собственно балтийских названиях. Как славянская, так и балтийская "грязно-мокро-болотные" версии недостаточно подкреплены собственно москворецкими реалиями. Москву-реку

как саму по себе, так и в сравнении с соседними реками, вряд ли можно охарактеризовать как грязную, болотную. Что же до ссылок на отдельные низменные, сырые участки ее берегов, существующие сейчас, либо в прошлом, например, *Болото* или *Великий луг* напротив Кремля²⁷, так такие найдутся на любой реке, зачастую более выразительные и размером, и количеством. "Мокроту", "болотистость" в названии Москвы-реки чаще всего обосновывают ссылкой на бывшее болото *Москворецкая лужа* в ее истоке. Но, во-первых, этот принцип номинации должен был бы свести названия всех рек к трем типам: *Болотня*, *Озерна*, *Ключевня*. Во-вторых, А.П. Афанасьев достаточно убедительно отвел этот аргумент, указав, что еще тысячу лет назад река вытекала не из болота, а из озера ледникового происхождения.

Но еще более серьезно следующее обстоятельство, подтачивающее опорный столб обеих версий: основа *mosk-*, связанная с понятием сырости или мытья, не является исключительной собственностью индоевропейских языков. На это, в частности, указал Й. Койвулехто, сравнив индоевропейское *mozg* (лит. *mazgoti*, *mazgoju* "мыть") с уральским **moške* "мыть", эстонское *moske-*, марийские и пермские формы: **muške*²⁸.

А не упустили ли мы еще какую-то принципиальную возможность? В конце концов, славяне могли воспринять чужое название реки и лишь слегка подправить его в соответствии с хорошо знакомой им моделью (этим мы учитываем сильнейший аргумент славянской версии: наличие в славянских землях топонимов не просто с *Моск-*, но с *Москов-*). Знакомой, но, заметим, уже непродуктивной в силу утраты производящего апеллятива.

Вернемся к тому факту, что и в западном Подмосковье в свое время проживали финские племена. Летописи их особо (как отдельный народ) не отметили, но археология и топонимика дают на этот счет недвусмысленные показания. Даже в эпоху, непосредственно предшествующую появлению здесь славян, население западного и юго-западного Подмосковья не было сплошь балтоязычным. Преимущественно балтским было, прежде всего, население правобережья Москвы-реки, а севернее располагалась зона, археологически характеризующаяся балто-финской чересполосицей, либо гибридной балто-финской культурой. Низовья Москвы-реки по-прежнему занимали финские группы мери и мещеры²⁹.

А как обстоит дело с гидронимией собственно Москворечья? Многие притоки Москвы-реки носят славянские имена: *Песочна*, *Озерня*, *Островня*, *Липка*, *Городенка*, *Медвенка*, *Рудановка*, *Медведка*, *Сходня*, *Вошня* (**Волошня*), *Волхонка* (**Волоконка*), *Малиновка*, *Северка*, *Раменка*, *Мутня*, *Глинка*, *Чермянка* (черьмный "красный"). Немало и

балтских названий: *Иночь, Сетунь, Искона, Руза, Истра, Яуза, Гжелка, Пресня, Химка, Чечера*. Впрочем, Г.П. Смолицкая связывает это название с русским *чечера* "старое русло реки"³⁰. Есть названия, например, *Колочь, Саминка, Можая, Моча, Костомка*, которые могут быть, в принципе, возведены к разным языковым источникам: балтийским, финским. Такие же названия, как *Чура, Неглинка, Коломенка* (трижды), *Сара, Пехорка, Пахра*, наиболее правдоподобно объясняются уже из финно-угорских языков или русских заимствований из них. Впрочем, и по поводу этих названий есть иные мнения: Коломенку зачисляют в славянские (Трубачев), Пахру и Пехорку кто в славянские (Трубачев), кто в балтийские (Тюльпаков), кто в иранские³¹.

В целом, западное Подмосковье может быть охарактеризовано археологически и топонимически как северо-восточная периферия балтского ареала, западная периферия волжско-финского ареала и юго-восточная периферия ареала прибалтийско-финского. Названия прибалтийско-финского типа уходят отсюда, в целом, на север. В этом же направлении разворачивается еще один шлейф гидронимов на *-ва*: *Садва, Чеснава, Царева* (от *soari, sar'* "остров"), *Кирва, Сичева, Волхов* и *Волхова, Одава, Мурашева, Черева, Пюльвя, Олова, Кержева* и др. На заведомо "финских" землях происхождение этих *-ва* очевидно: это результат русского освоения исходных *-оя, -уя, -вай* – из прибалтийско-финского *oja*, саамского *voaije, vuaj, vai* "река, ручей". Мы видим в северных краях и топонимы с основой *Маск-/Моск-/Мушк-/Мошк-*: река *Маска* в бассейне Клязьмы; *Мушкова* гора в верховьях Истры (*Мушков* погост в 1336 г.); деревня *Машковица* в Тотемском уезде (XVII в.); река *Москота* в бассейне Мологи; *Машково болото* у Кокшеньги (1393 г.); *Мошкозеро* в бассейне Кенозера; погост *Мушкинский* у озера Лача; речка *Мушка* в бассейне Паши (1605 г.); озера *Маскаламбина, Масколампи, Мескусьярви*, гора *Маскинанмяки*, порог *Моасккоски* в Карелии; на Кольском полуострове: хребет *Mask-tšielje*, остров *Maskvaar-suelo*; в Финляндии: *Маску, Мери-Маску, Муско, Маскенвара*. Кстати, еще М. Фасмер заметил: "следовало бы выяснить отношение **Москы* к финскому *Masku*".

Для многих из этих названий мы не можем определенно сказать, от каких слов они произошли, но важно, что в соответствующих языках созвучные этим названиям слова имеются: финское *moska* "мусор, грязь, дрянь", прибалтийско-финское *tuhka* < **tuška* "шишка, нарост" (в топонимах – "холм"), саамское *moska* "глухой, дремучий, непроходимый", *moska-vuudte* "дремучий лес"; *maski* "изгиб, поворот" (вспомним реконструкцию Соболевского: **Москы*). Так что вполне реальным было бы, скажем, название **Maskivuaj* (>Москва) "Извилистая река", что

могло отражать бесконечное петляние реки по ее пойме в верхнем течении (нехарактерное для соседних рек, сравнимых по размерам с Москвой-рекой) или же извилистость русла в нижнем течении (8 крутых петель только в пределах города Москвы). Об этой возможности писал и В.Н. Топоров, указывая, в рамках балтийской версии, литовское *mazgas* "узел", *mezgti* "вязать", но, все же, отдавая предпочтение "мокрой" теме.

Но дело даже не в конкретных словах и образах. Важно, что ряд подмосковных гидронимов находит массовые параллели в топонимии Русского Севера, а в языках соответствующих народов имеются слова, к которым эти названия могут быть возведены и фонетически и семантически. Следовательно, эти же слова могли быть и в языке их далеких предков, оставивших в Подмосковье свои топонимические следы.

Итак, три версии: славянская, балтская, финская. Мы видим, что каждая из них в той или иной степени выдержала проверку историческую, лингвистическую, топонимическую и географическую. Какая же истинна – пока неизвестно. Но любопытно сопоставить новую финно-угорскую гипотезу происхождения названия *Москва* с тем, что писал еще В.Н. Татищев: «Но правее я разумею быть имя Москвы реки сарматское "болотная", ибо в вершине оной болот немало, или "крутящаяся", ибо весьма криво многими и великими излучинами течет и от того оное произошло»³². Таким образом, с точки зрения географических реалий, Татищев разом объял и славянскую, и балтскую, и нашу финскую версии. В языковом же отношении он имел в виду именно последний вариант, ибо финно-угров полагал потомками сарматов.

Список использованной литературы

1. Полное собрание русских летописей. М., 1908. Т. 2. Далее – ПСРЛ. Том.
2. ПСРЛ. Т. 2.
3. ПСРЛ. Т. 23.
4. Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990–1993 гг. // Вопросы языкознания. 1994. № 3.
5. Временник Московского общества истории и древностей российских. М., 1852. Вып. 12.
6. Гизель Иннокентий. Синописис или краткое описание о начале славенского народа... Киев, 1674.
7. Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1992. Т. 2–3; Забелин И. История города Москвы. М., 1905; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. 2; Тюльпаков Б.М. Топоним Москва в свете этнических процессов в западном волго-окском междуречье // История СССР. 1991. № 5; Векслер А.Г. "Москва" в Москве. М., 1982.
8. Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М., 1966; Седов В.В. Балты и финно-угры в древности (по археологическим материалам) // *Uralo-indogermanica*. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. М., 1990. Ч. 1.

9. Попов К.А. Зыряне и зырянский край // Известия общества любителей естествознания, истории и этнографии. М., 1874. Т. 13. Вып. 2.
10. Бюргер Г. Изложено по: *Погодин М.П.* О происхождении имени Москва // Московский вестник. 1829. Ч. 3.
11. Афанасьев А.П. Финно-угорская гипотеза топонима Москва // Вопросы географии. М., 1985. Сб. 126.
12. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.–Л., 1950.
13. Кузнецов С.К. Русская историческая география. М., 1910. Т. 1.
14. Буслаев Ф.И. Местные сказания владимирские, московские и новгородские // Летописи русск. лит. и древн. М., 1862. Т. 4.
15. Гордеев Ф.И. К вопросу о происхождении гидронима Москва // Всес. конф. по топонимике СССР. 1965. Тез. докл. и сообщ. Л., 1966.
16. Седов В.В. Гидронимия голяди // Питання гідроніміки. Київ, 1971.
17. Соболевский А.И. Русский филологический вестник. 1910. № 3–4; Известия отделения русского языка и славистики. 1924. Т. 27.
18. *Ильинский Г.А.* Река Москва // Известия Российской Академии наук. 1922. Т. 16. Сер. 6; *Lehr-Splawiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie słowian. Poznań, 1946; *Фасмер.* Указ. соч.; *Черных П.Я.* Две заметки по истории русского языка. 1. К вопросу о происхождении имени Москва // АН СССР. ОЛЯ. 1950. Т. 9. Вып. 5; *Черных П.Я.* О некоторых старых названиях рек (топонимические заметки) // Мовознавство. Київ. 1957. Т. 14; *Нерознак В.П.* Названия древнерусских городов. М., 1983.
19. Насколько нам известно, первым на ряд этих названий обратил внимание *Доленго-Ходаковский З.* // Русский исторический сборник. М., 1844. Т. 7.
20. *Трубачев О.Н.* Етимологічні спосереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971. № 6; *Трубачев О.Н.* В поисках единства. М., 1992; *Трубачев О.Н.* Праславянское наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1993. М., 1994; *Bujak F.* Skąd przyszli Radymiczei Wjatyctze na Ruś? // Swiatowit. Warszawa. 1949. Т. XX.
21. *Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1966; *Мурзаев Э.М.* Топонимия и география. М., 1995.
22. *Погодин М.П.* Москвитянин. 1842. № 2. Ч. 1.
23. Этимологический словарь славянских языков. М., 1994. Вып. 20: *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна Оки в ее отношении к истории словарного состава русского языка (проблема реконструкции). М., 1981.
24. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1952–1963. Т. 3. № 341 а: XV век.
25. *Забелин.* Указ. соч.
26. *Топоров В.Н.* "Baltica" Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972; *Топоров В.Н.* Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982. См. также: *Азеева Р.А.* Гидронимия Москвы // Вопросы географии. М., 1985. Вып. 126.
27. *Смолицкая Г.П., Горбаневский М.В.* Топонимия Москвы. М., 1982.
28. *Koivulehto J.* Frühe indogermanisch-uralische sprachkontakt // Uralo-indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. М., 1990. Ч. 2.
29. *Седов В.В.* Гидронимические пласты и археологические культуры Центра // Вопросы географии. М., 1974. Вып. 94; *Рябинин Е.А.* Мещера // Природа. 1995. № 3.
30. *Смолицкая.* Указ. соч.
31. *Тагунова В.И.* Топонимы с сочетанием *-xp-* в основе // Русская ономастика. Рязань, 1977.
32. *Татищев В.Н.* История Российская. М.–Л., 1962. Т. 1.



О БЛАГОЗВУЧИИ ПОСЛОВИЦ И ПОВОРОК

В.М. ГЛУХИХ,
кандидат филологических наук

Кто из русских не любит своих пословиц и поговорок! Эти жемчужины устного народного творчества, выразительные, образные и меткие народные изречения украшают нашу речь, делают её более точной и впечатляющей. Но мы, пожалуй, недостаточно осведомлены о их достоинствах. Одно из них – благозвучие.

Под благозвучием понимается стройность, приятность звучания.

Благозвучие – органическое свойство пословиц и поговорок. Народная мудрость гласит: "Хороша пословица в лад да в масть". При этом важно, чтобы склад речи соответствовал глубокому содержанию и основательному делу. Ср.: *Хорош складом, да не крепок умом; Складно баёт, да дело не знает*. Нескладная речь свидетельствует о смысловой слабости, неупорядоченности, суматохе и неразберихе. Ср.: *Ни складу, ни ладу; Что не складно, то и не ладно; Слов много, да складу нет*.

И если "поговорка – цветочек, пословица – ягодка", то становится ясно, что пословица должна быть совершенной по звучанию и содружанию.

В самом деле, приглядевшись, убеждаешься, что пословицы – это своеобразная микропозия, с предельно лаконичными сюжетами, паразитическим здравым смыслом, с естественной сдержанностью и простотой, с симпатиями и антипатиями, с удивительной искренностью, мягкостью и порядочностью, незлобивостью и добродушием.

У пословиц и поговорок свой размер, свой ритм и своя мелодика. Необычайная упорядоченность безударных и ударных слогов характеризует пословицу и поговорку как ритмически организованное, предельно краткое и чаще всего рифмованное изречение.

Слоговой упорядоченности способствуют короткие слова, широко используемые в пословицах и поговорках. Известно, что "слова хороши, если они коротки". Ср. также: *Коротко да ясно, оттого и прекрасно*. Так, самостоятельные слова в них (существительные, глаголы, прилагательные, наречия и т.д.) преимущественно одно-, двухслоговые. Трёхслоговые слова немногочисленны. Слова с большим количеством слогов единичны. Что касается служебных слов, то они в основном первообразные, обычно односложные. Производные служебные слова весьма редки. Ср.:

Язык до Киева доведёт; Без языка и колокол нем; Язык один – и в будни, и в праздник; Язык поит и кормит и по миру водит; Язык – стяг: дружину водит; Языком болтай, а рукам воли не давай; Язык впереди ног бежит; Не ножа бойся – языка и т.д.

Для звукового состава пословиц и поговорок характерно исключительное доминирование "музыкальных" звуков речи – гласных, сонорных и звонких согласных. При этом большую роль играет аллитерация – повторение однородных звуковых элементов в составе слов, которые благодаря этому выделяются в речевом потоке, привлекают к себе внимание, получают определенную интонационную значимость. Например:

"**Летняя неделя дороже зимней**"; "Для злой **Натальи** все люди каналы"; И по рожу **знать, что Сазаном звать**" и т.д. Так в пословицах и поговорках осуществляется связь интонационно-звуковой системы речи с лексической, синтаксической, эмоционально-смысловой её структурой.

Соразмерности пословичных строк очень способствует рифмовка – повторение более или менее сходных сочетаний звуков в окончаниях слов, завершающих эти строки. Как известно, рифмовка многофункциональна: она связана со звуком, ритмикой, лексикой, интонацией и синтаксисом, чётко определяет строфику.

Из-за краткости изречения принято писать поговорку в строку. Рифмующиеся слова, таким образом, чаще всего оказываются в пределах одной строки. Такова пословичная строфика.

Пословичная рифма преимущественно **простая, точная и парная**, охватывающая созвучием обычно большое количество звуков в разных словах. Рифмуются, как известно, наиболее существенные слова. В поговорках и пословицах это, главным образом, существительные и глаголы.

Распространена в поговорках **внутренняя** рифмовка – повтор отдельных звуковых сочетаний в окончаниях слов внутри стиха:

Бился, колотился, а ничего не добился; Прялицу в подвалицу, а сама бух в пух; За тараканом – с барабаном, за комаром – с топором; Лениость наводит на бедность; Арсенья ждать до воскресенья; Фала-лей в избе не нашёл дверей.

Пословичная рифма чётко разграничивает речевые такты (ритмико-интонационные отрезки речи) в пределах простого предложения и ясно определяет синтаксическое построение компактного сложного предложения. Ср.:

Было у Мокея четыре лакея, а ныне Мокей сам лакей; У всякой пташки свои замашки; Вся семья вместе, так и душа на месте; Что в поле ни родится, всё в доме пригодится; Когда скоком, а когда боком; Не за всякое дело берись, чтобы не каяться; не у всякой лекарки лечись, чтобы не маяться.

Нетрудно заметить, что в поговорках и пословицах нередко употребляются собственные имена существительные, особенно личные, очевидно, для метафорического выражения мысли в образах знакомых и объективных, доступных восприятию, а также для подчеркивания значения нарицательного существительного через употребление его в рифмовке с собственным. Например: *Язык до Киева доведёт* (то есть при необходимости с помощью языка можно преодолеть большое расстояние, нетрудно найти любой отдалённый или малоизвестный пункт); *Потчуют куму блинками, а Фому пинками* (то есть непутёвого человека); *Наряжается, что Маланья на свадьбу* (то есть чересчур пышно и нарочито) и т.д.

Очень часто собственное имя, особенно личное, оказывается зарифмованным:

Болтай, болтай, недалеко Валдай; Пришли на Настю беды да напасти; Мели, Емеля, твоя неделя; Ехал к Фоме, а заехал к куме; У лентяя Федорки всегда отговорки; Знает Пахом, что на правую хром; Наш Федул губы надул; Шутил Мартын, да и свалился под тын; У всякого Гришки свои делишки; Был у меня муж Иван, не приведи Бог и

вам; Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман и т.д.

С благозвучием связан лексико-синтаксический параллелизм. Он проявляется в использовании тождественных в лексико-грамматическом отношении компонентов изречения, в одинаковом синтаксическом построении частей сложного предложения, в одинаковом расположении сходных членов предложения и т.д. Лексико-синтаксический параллелизм буквально пронизывает пословицу, а на письме обуславливает одинаковые знаки препинания в сложном многочленном предложении. Вот некоторые примеры:

Лето собериха, зима подбериха; Один про Фому, другой про Ерёму; Ноги идут, руки несут, уста говорят; Где хвост – начало, там голова – мочало; Муж в дверь – жена в Тверь; Язык говорит, а голова не ведаёт; Ученье – красота, неученье – слепота; Хозяин в дому – что медведь в бору; хозяйюшка в дому – что оладышек в меду; Ешь – не доедай; пей – не допивай; говори – не договаривай; Скажешь – не воротись; напишешь – не сотрёшь; отрубишь – не приставишь.

Все эти средства и приёмы благозвучия сообщают пословицам и поговоркам своеобразное ритмомелодическое звучание, делают их в этом отношении самобытными единицами выразительной и образной речи.

Магнитогорск



Пушкинские традиции

В

"Уральском казаке" В.И. Даля

*Ю. П. ФЕСЕНКО,**кандидат филологических наук*

"Уральский казак" впервые был напечатан в 1842 году в 14 выпуске "Наших, описанных с натуры русскими". Критик отмечал: «"Уральский казак" – это не повесть и не рассуждение о том-о сём, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в "Наших" читается, как повесть...» (Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. VI. С. 560). Столь высокая оценка вполне согласуется с длительной работой Даля над текстом. Творческая предыстория произведения восходит к сентябрю 1833 года, когда Даль, будучи чиновником особых поручений при оренбургском военном губернаторе В.А. Перовском, помогал Пушкину собирать "пугачёвские" материалы. Позднее, весной 1835 года Пушкин подарил Далю экземпляр "Истории Пугачёвского бунта" (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М-Л., 1949. Т. XVI. С. 22; далее – только том и стр.).

Дружеское, доверительное общение между ними позволило Далю осознать исключительную значимость пушкинского труда. Поддерживая общественный интерес к подготавливаемой поэтом "Истории Пугачёва", переименованной при издании по распоряжению Николая I, и подтверждадая достоверность сообщаемых здесь сведений о казаках, Даль публикует в "Северной пчеле" (1833. № 230 и 231) "Письмо к Гречу из Уральска" от 25 сентября. Этот краткий этнографический очерк представлял собой первоначальный эскиз к будущему "Уральскому казаку". Отсюда сходные черты в обрисовке быта, промыслов, включая и сочную поговорку: "Урал – золотое дно, серебряна покрывка". Дополнительно отдельные подробности будущего повествования уточнялись Далем в краеведческих статьях, напечатанных в "Северной

пчеле": "Новый атаман. (Письмо из Уральска)" (1834. № 101); "Скачка в Уральске" (1834. № 255, 256); "Скачки в Уральске и Оренбурге" (1835. № 262, 263). Постепенно замысел произведения расширился. Во всяком случае, в письме к В.Ф. Одоевскому от 5 апреля 1837 года Даль сообщал: "У меня давно на уме уральский роман; быт и жизнь этого народа, казаков, цветиста, ярка {...}" (Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 145). Приведённой фразе предшествовали тёплые слова о пушкинском перстне-талисмани, а сама фраза, видимо, подразумевала призыв поэта к Далию в сентябре 1833 года написать роман (А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 262). Впоследствии Даль "уплотняет" текст, учитывая и совместные с Пушкиным "пугачёвские" разыскания.

Главный герой "Уральского казака" старообрядец Маркиан "дал обет помолиться усердно в православной церкви, если утвердят наконец окончательно за войском сенокосы на левом берегу Урала, Камыш – Самару с Узеньями и обеспечат угрожаемые нашествием астраханцев войсковые морские воды" (Даль В.И. Избр. произведения. М., 1983. С. 113; далее цитируется это издание); Однако, как замечено в "Истории Пугачёва", ещё царь Михаил Фёдорович пожаловал яицким казакам "грамоту на реку Яик, отдав им её от вершины до устья" (IX, 8). Затем "реками, лугами, деньгами и провиантом" одарил их Пугачёв (IX, 16). И всё же территориальные вопросы остались нерешёнными. По мнению Даля, высказанному им в "Письме к Гречу из Уральска", потеря грамот Михаила Фёдоровича является "причиною великого бедствия для уральцев, ибо ныне, исключая северных пределов уральских, все остальные у них оспариваются соседями" (Северная пчела. 1833. № 230. С. 920).

В начале очерка мы видим Маркиана на рыболовстве – главном прибыльном промысле казаков – возле Бударинского форпоста. Но именно отсюда полыхнуло восстание Пугачёва, предполагавшего использовать осеннюю плавню для поднятия мятежа (IX, 15). При первой публикации Маркиан носил фамилию *Подгорнов*, заменённую в 1846 году в четвёртой части "Повестей, сказок и рассказов Казака Луганского" на *Проклятов*, которая недвусмысленно соотносилась с фамилией *Пугачёв*. Дело даже не только в совпадении слов *проклятый* и *пугач* в значении "леший" (Даль В.И. Толковый словарь. М., 1990. Т. 3. С. 490, 535). Пугачёв был проклят Святейшим синодом (IX, 191), что получило широчайшую огласку.

Во внешнем облике и привычках Проклятова и Пугачёва, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, немало сходства. Даль пишет: "Проклятов – гурьевский казак старинного закалу: ростом не велик, плотен, широк в плечах"; "Борода ему дороже головы"; "{...} он, прищутив левый глаз, ровно прицеливается, следит низкую стаю лебедей";

"Проклятов ходил под гладкой круглой стрижкой, как все старoverы наши"; "<...> так состарился Проклятов, по крайней мере стал седеть, хотя ему было не с большим пятьдесят лет". В "Истории Пугачёва" читаем: "Незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Чёрная борода его начинала седеть" (IX, 15). В "Капитанской дочке": "<...> он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась проседь <...>. Волосы были обстрижены в кружок"; "Пугачёв смотрел на меня пристально, изредко прищуривая левый глаз" (VIII, 290, 331). Как и Пугачёв (IX, 41, 108), Проклятов не выучился грамоте. Пугачёв не принадлежал к старообрядцам, но постоянно вносил старообрядческие мотивы в свои манифесты, ибо "старая вера" для казаков «была не столько вероучением, сколько символом их "старых" казацких прав» (Мавродин В.В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в XVIII веке (1773–1790). Л., 1975. С. 79).

Характеристика Пугачёва в специальном исследовании кажется составленной после прочтения "Уральского казака": "Пугачёв обладал завидной физической силой, здоровьем, выносливостью. Он мог по двое суток не сходить с седла, переносить холод и жару, голод и жажду. Ходил он легко и быстро. Всегда был бодр и энергичен". Он отличался смелостью и осмотрительностью, "великолепно владел ружьём, саблей, пикой..." (Крестьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачёва: В 3 т. Л., 1970. Т. III. С. 441, 443). У Даля: "В походе не брали Проклятова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод"; и хотя Маркиан "менее всего жаловал саблю", предпочитая винтовку, открытой конной атаки он не признавал, "криком и гиком брал, врасплох брал, и с тылу, и в засаде".

Но Даль, конечно же, воссоздаёт не зашифрованный образ Пугачёва, а предельно обобщённый тип уральского казака. Таковым прежде всего предстаёт и пушкинский Пугачёв. Только соответствии чаяниям уральцев "возвышает" его до "Петра III": "Всё предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался" (IX, 12). Восстание понимается как столкновение исконного уклада народной жизни с чуждым ему чиновничье-помещичьим государством. Не на одно лишь качество рассчитывает Пугачёв и при неудаче намерен "броситься в Русь, увлечь её всю за собою, поставить новых судей (ибо в нынешних, по его словам, присмотрена им многая неправда)..." (IX, 15). Противостояние народных обычаев несправедливому бюрократическому устройству явственно ощутимо в далевском очерке. К примеру, Маркиан осуждает войсковых чиновников, "которые в похвалбу перед сторонним начальством, носили тайком от своих в руке табакерочку". Видимо, не скрывал собственного мнения Проклятов, почему и не нажил никаких особенных богатств. Прослужив 33 года –

подобно Силе Калинычу из одноимённой далевской сказки – и в надежде "на милость начальства" собираясь в отставные, он вынужден по бедности выступить в 1828 году на войну с Турцией. Не единожды участвовал Проклятов в багренье для монаршего стола, да сам дорогой рыбы не отведал – «"не по рылу", как выражался старик».

Приводимый Далем список казачьих фамилий начат как вопрос-ответ, бытующий на Урале, и завершён намёком на сосланных бунтовщиков: «В Сибири спрашивают вместо этого: "чьих вы?". И от этого вопроса произошли прозвания: *Кривых*, *Нагих*, *Ильиных* и прочих». К тому же список сориентирован на известные в прошлом имена. Напомним, из боярской семьи *Нагих* по матери происходил сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, таинственная гибель которого в 1591 году послужила поводом для появления различных самозванцев. *Нагой* также прозвище монаха, обличавшего в 1699 году Петра I за пристрастие к "немецкой вере" и отправленного после пыток "в Азов на каторгу" (Щегинин Л.М. Русские имена: Очерки по донской антропонимии. Ростов, 1978. С. 125–126). *Кривой* Сергей – ближайший сподвижник Степана Разина в персидском походе 1668–1669 годов. В "уральской" части списка: *Донсков* (Донской) – атаман казаков Сакмарского городка, скрывшийся от Пугачёва в Оренбурге (IX, 21); *Харчов* – названный в итоговой "сентенции" повстанец (IX, 190) и одновременно, по созвучию фамилий, пятидесятник Харчев, принявший пленённого Пугачёва от казаков-предателей (IX, 77).

Заранее предполагаются и дополнительные толкования в русле исторического объяснения изображаемых событий. Былое непроизвольно сопутствует искусно создаваемой трёхчастной, как в фольклоре, градации. Начало списка указывает на экономические основы казачьего быта: *Карпов* (рыба карп) – *Донсков* (река Дон) – *Харчов* (харч – продовольствие). Смысл следующей части списка восстанавливается с помощью Словаря Даля, откуда мы и берём приводимые пояснения: *Гаврилов* (гава – ворона; гаврик – простофиля), *Мальгин* (мальга – самая мелкая рыбёшка), *Казаргин* (казарга – род лука для стрельбы глиняными пулями; более игрушка).

Понятно, наивная ограниченность и задиристость войсковой массы может потрясти, но не изменить государственные устои. Однако даже "игрушечная" угроза завершается жестокой расправой с казачеством и приводит к неминуемой беде *Кривых* (то есть калек), *Нагих* (то есть бедных), *Ильиных* (иль иных) и пр. Перечень вырастает из повседневности и растворяется в ней же. Всё возвращается к исходной точке. Составляющие народного возмущения выражены через "говорящий" ономастический фонд. Отступление об антропонимии вклинивается в рассуждение о сыновьях Проклятова и усиливает символическое

звучание его фамилии. Наряду с перечисленными возникает род Проклятого (ср. здесь же: «Он отвечает: "Донского" или сокращённо: "Донсков"»), к которому отнесено всё казачье войско.

Смысловые двойственности используются и в "Истории Пугачёва". Укажем хотя бы на изъятые Николаем I упоминания о пугачёвце Степане Разине (Овчинников Р.В. Над "пугачёвскими" страницами Пушкина. М., 1981. С. 54–60). Или в примечании № 8 к главе восьмой помещено "Описание, собранное поныне из ведомостей разных городов, сколько самозванцем и бунтовщиком Емелькою Пугачёвым и его злодейскими сообщниками осквернено и разграблено Божиих храмов, также побито дворянства, духовенства, мещанства и прочих званий людей, с показанием, кто именно и в которых местах" (IX, 116). В частности, тут среди погибших в Казани значится *сержант Иван Белобородов* (IX, 119), не учтённый, кстати, в присланных для составления "Описания...", в том числе и из Казани, сведениях (РГИА, ф. 468, оп. 32, д.2). Пушкин, прекрасно зная, что повстанческий полковник Иван Наумович Белобородов был "отставным солдатом", "отставным канониром" (IX, 703, 776), называет его "отставным артиллерийским капралом" (IX, 28), то есть причисляет к младшему командному составу и тем самым "подгалкивает" читателя к сближению фамилии из "Описания ..." с "пугачёвским" Белобородовым. Истребившие друг друга соотечественники – победители и побеждённые – навеки уравниваются в правах, что присуще и далевскому списку фамилий.

Противоречива действительность, противоречивы и герои. Разговоры о справедливости не мешают Пугачёву преподнести Хлопуше в подарок "платье недавно повешенного киргизца" (IX, 23) или предать мученической смерти полковника Елагина, его дочь, принуждённую к тому же стать наложницей, и её семилетнего брата (IX, 19, 28). "Царское" и "преступное" неизменно соседствуют в "Петре III". Сродни этому Маркиан готов поделиться последним куском с нищим, жалеет старого пса и... безжалостно выбрасывает замерзать двух мальшью из вьюков захваченного им в зимнем степном поиске верблюда. Любопытна здесь переключка с записной книжкой поэта 1833 года: "Пугачёв ехал мимо копны сена – собачка бросилась на него. Он велел разбросать сено. Нашли двух барышень – он их, подумав, велел повесить" (IX, 492).

И пушкинский Пугачёв, и далевский Проклятов живут на пересечении исторического и эпического времени. Отсюда ощущение трагизма, постоянно возникающее в тексте. Замкнутое в себе эпическое время порождается вековым жизненным укладом, вернее, повторяющейся стадийностью его развития. Цикличность заметна и в круговороте промыслов, и в преемственности нравственно-юридических воззрений между поколениями. Народное бытие в изображении Пуш-

кина и Даля отличается разветвлённым самоуправлением, регламентирует поведение человека, но не подавляет, а, наоборот, высвобождает его энергию. Скажем, Маркиан настолько решительно вторгается в повествование, что автор-"бритоусец" скромно ограничивается воспроизведением его высказываний. Одни и те же реплики Маркиана бесконечно видоизменяются, ритмизируя повествование и наглядно передавая повторяющуюся стабильность сложившегося уклада: "Обтерпелся, – говаривал он, – да сызмаленьку привык"; "Сызмаленьку привык, дело домашнее"; «(...) и это делал он также оттого, как объяснялся, что "привык так с молодых лет, что море у них – дело соседнее, под рукой»»; "Проклятов привык к винтовке сызмала" и т.п.

Круговорот народного бытия лежит в основе исторического круговорота. Поэтому Пушкин подчёркнуто изображает одну и ту же ситуацию: поражение (бегство) – возрождение (возвращение) Пугачёва. В его речи, смыкающейся с пословично-поговорочным материалом, Пушкин прямо использует свои оренбургские записи: анекдот о том, что пушки не "льются на царей" (IX, 18, 495), и поговорку "Улица моя тесна" (IX, 27, 102). Фольклорное начало проявляется и в любви "Петра III" к бурлацкой песне (VIII, 330–331; IX, 27), и в скоморошеском желании его ближайшего окружения прослыть за екатерининских вельмож да "звонко" переиначить местную топонимику (IX, 28, 102). Но точно так и поведение Проклятова весело обосновано обиходными изречениями: "Морозу он не боится, потому что мороз крепит; (...) жару не боится потому, что пар костей не ломит". Маркиан предстаёт балалаечником, плясуном, песенником. Правда, далевский фольклоризм более всеобъемлющ: то Маркиан повстречает шутовку из народных поверий, то его товарищ, казак Дервянов, будто по волшебству, выедет на санях из моря, то мы узнаём об особом предназначении мужского пояса или о своеобразии уральского свадебного обряда.

Пушкин только иногда "цитирует" Пугачёва, в то время как Даль буквально насыщает произведение высказываниями Маркиана. Даль менее последовательно соблюдает "нейтральный", "объективный" тон изложения и привносит в текст лирические вкрапления (напр.: "А где же Проклятов... пойдёт работа?"). Образ героя, не изменяясь в основных своих чертах, дробится на множество Маркианов различных периодов его жизни. Мы видим Проклятова юношей, зрелым мужем, пожилым ветераном; рыболовом, охотником, моряком, наездником... Огромное количество сведений о герое, требующее в свою очередь пояснений и уточнений и грозящее стать бесконечным, свидетельствует о невозможности исчерпать живую человеческую личность. Пушкинский Пугачёв также предстаёт перед нами в качестве бродяги, работника, заключённого, полководца... "Множественность" ликов персонажа, будучи важным этапом в становлении реалистических принципов

типизации, дополнительно убеждает в общности идейно-эстетических устремлений Пушкина и Даля.

Маркиан и слит с окружающей природой, и в то же время сражается с ней. А поскольку лишь вся природа в целом под стать жизненной судьбе героя, то в конце очерка его гибель представлена как исчезновение в бескрайнем степном просторе. З.И. Власова справедливо назвала Проклятова "выдающейся личностью" (Русская литература и фольклор: Первая половина XIX века. Л., 1976. С. 348). Эпический размах герою придаёт прежде всего сформировавшийся его уклад, объединяющий в нерасторжимое целое предков и потомков. Герой черпает силы из неиссякаемой человеческой общности и об измене своей вере не помышляет никогда. Собственно, и пушкинский Пугачёв вплоть до самого конца не признаёт себя побеждённым. И хотя просвещённый повествователь не одобряет "обычаев домашнего изуверства", именно они являются необходимым условием сохранения исконных жизненных устоев. Плох ли, хорош ли выводимый уклад, но только благодаря ему может существовать самобытный фольклор и русский народ вообще. Реализовать себя в мире чиновничьего произвола герой не может, лучшие его качества – пусть и противоречиво – обнаруживаются на рыболовстве, в морском плавании, в бою. Подобный подход становится главенствующим при изображении человека из народа в русской литературе XIX века. Сопоставительный анализ "Истории Пугачёва" и "Уральского казака" позволяет говорить о разноуровневых типологических схождениях в построении обоих произведений.

В жанровом отношении "Уральский казак" представляет собой уникальное образование, совмещающее в себе черты этнографического, даже путевого очерка предшествующего литературного периода (отсюда образ просвещённого автора-исследователя "экзотической" культуры) и идущего ему на смену, хотя и не отменяющего его, физиологического очерка (отсюда установка на системную классификацию социальных явлений). Тем не менее с учётом длительной творческой предыстории и принципиальности художественного решения в "Уральском казаке" можно усмотреть образец первого русского физиологического очерка. Противопоставленность векового уклада крепостнической машине, "множественность" ликов персонажа и его противоречивость трансформировались в лучших "физиологиях" в заранее заданное несовпадение выводимого типажа с воспроизводимой классификационной "сеткой". Это повышало внесловную ценность человеческой личности и придавало изначальную конфликтность жанру "физиологий". В текст привносился второй смысловой план, а удельный вес каждого слова неизмеримо возрастал. Конфликт во многом изымался из событийного ряда и "рассеивался" в архитектонике произведения.

При кажущейся простоте рисунка подлинные физиологические очерки требовали тщательнейшей стилистической отделки и, лишь по досадному недоразумению, считаются порой примитивными "дагерротипами". Они не противостояли русскому роману XIX века, а подготавливали его расцвет.

Таким образом, пушкинские традиции, помноженные, когда речь идёт о Дале, на непревзойдённое знание народного языка и быта, непрерывно и результативно воздействовали на развитие отечественной литературы. Очень чутко преемственность между пушкинским и далевским творчеством уловил Белинский, о чём свидетельствует, на наш взгляд, одна знаменательная переключка. В 1841 году в рецензии на "Сочинения Александра Пушкина" критик писал: «(...) зато в русской литературе нет ничего выше его (Карамзина. – Ю.Ф.) исторической прозы, кроме "Истории Пугачевского бунта", пером Тацита писанной на меди и мраморе!.. В "Капитанской дочке", "Пиковой даме", "Кирджали" и разных журнальных статьях Пушкин не имеет себе соперников в подобных родах сочинений» (Белинский В.Г. Указ. соч. Т. V. С. 274). Позднее в статье "Русская литература в 1845 году" он сходным образом отозвался о Дале: "В.И. Луганский создал себе особенный род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать *физиологическим*" (Там же. Т. IX. С. 398). Думается, данное совпадение "высвечивает" одну из магистральных линий развития русской прозы: от исторического "документализма" Пушкина к фольклорному "физиологизму" Даля.

Луганск,
Украина



НЕЙТРАЛИТЕТ. СУВЕРЕНИТЕТ

М. Ф. ШАЦКАЯ,

кандидат филологических наук

В XVIII веке в русской дипломатической сфере уже совершенно определенно осознается международно-правовое положение государства, не принимающего участия в войне между другими странами и сохраняющего с ними мирные отношения или принимающего обязательство не участвовать в военных блоках. Передавалось это понятие словом *нейтральство* и несколько позже его однокоренным вариантом *нейтралитет*. Первое слово является полукалькой французского *neutralité*, пришло в русский язык через посредство немецкого *Neutralität*.

Любопытен факт фонетического освоения этого заимствования в русской дипломатической среде. На письме сочетания двух гласных западноевропейских языков (франц. *eu*, немец. *ei*; ср. лат. *ei*) передавались в виде *eu*, *ei*, *ей*: *неутральство*, *нейтральство*, *нейтральство*; ср. и подобное в словах типа *аудиенция*, *авдиенция*, *одиенция*; *ауторитет*, *авторитет* и т. п. (см.: Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972).

Эти варианты довольно часто употребляются в русских дипломатических документах XVIII века, особенно в его первой половине. А в трактате П.П. Шафирова "Рассуждения какие законные причины е.ц.в. Петр Первый... к начатию войны против короля Карола 12, Шведского 1700 году имел" (СПб., 1717) анализируемое слово еще и поясняется: "По сеи декларации от вышепомянутых областей Акт нейтралства [обязательства что вне войны] учинен"; "наипаче всего изволь по всей возможности трудиться, дабы его королевское величество восприял медиацию, ... объявить, что по нужде и нейтралством довольны будем" (Письма и бумаги Петра I. СПб., 1707. Т. 5); "союзники без всякаго омедления подадут свою гварантию для основания неутральства в Германии" (Собрание трактатов и конвенций. СПб., 1710. Т. 1); "в

которой конвенции вы о предложенном нейтральстве ГанOVERУ писали" (Архив князя Воронцова. СПб., 1757. Т. 33).

С середины XVIII века в дипломатический лексикон входят галлицизм *нейтралитет* и несколько позже его вариант *нейтралитет*: "и, может быть, касательно известного нейтралитета курфюрста Ганноверского..." (там же. 1742. Т. 1); "из которой [депеш] видно, каким образом положено между обоими Дворами начать и производить вознамеренную о нейтралитете империи негоциацию" (там же. 1763. Т. 7).

В последней четверти XVIII века в международно-правовых актах находят отражение составные термины. *Вооруженный нейтралитет* – "соблюдение нейтралитета при полной готовности к войне". Под *вооруженным нейтралитетом* в 1780–1783 годах понимался направленный против Англии союз России, Дании и Швеции с целью охраны торгового мореплавания нейтральных стран в Северном море (История дипломатии. М., 1959). *Морской нейтралитет*: "Дознав пользу и спасительную цель начал системы вооруженного нейтралитета, ... решились мы не токмо бдеть о сохранении их вообще" (Собрание трактатов и конвенций. СПб., 1785. Т. 2); "приглашены ... императрицею всероссийскою к содействию с нею в утверждении морского нейтралитета правил, клонящихся к охранению свободы морской торговли" (Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1781. Т. 21).

Невмешательство в войну, происходящую между другими государствами, оформлялось в виде документа, носившего название *акт нейтральства*: "король шведский учиненной акт нейтральства нарушил" (Письма и бумаги Петра I. 1711. Т. 11; см. также пример из трактата П.П. Шафирова). Отмечены случаи употребления производного образования от основы прилагательного *нейтральный* – *нейтральность*: "Здесьний Двор и точно решен оставаться в нейтральности" (Письма Репнина. 1798 г. // Русский архив. СПб., 1876. Кн. 3). Заметим: в Новом словотолкователе Н. Яновского (1804. Ч. 2) приводятся три варианта: "Неутралитет и неутральство или нейтралитет". В дальнейшем в дипломатическом языке утверждается вариант *нейтралитет*, который употребляется и в наши дни; ср. *позитивный нейтралитет* – неучастие в военных союзах, *постоянный нейтралитет*. Это слово впоследствии приобрело второе, нетерминологическое значение "невмешательство в чьи-либо дела, борьбу, ссору и т.п.": "[я] – человек мирный. Во время каких-нибудь скандалов и столкновений других люблю держать нейтралитет" (Новиков-Прибой).

Глава государства, соблюдающий нейтралитет, называется *нейтралом* (немецкое прилагательное *neutral* от лат. *neutralis* на русской почве было воспринято как существительное): "понеже отсель в Кинесберх

писано и губернатору, чтоб король их, яко нейтрал, их не пускал" (Письма и бумаги Петра I. 1705. Т. 3); "дабы его королевское величество объявил бы себя нейтралом" (там же. 1707. Т. 5); "подобно тому поведению оных нейтралов последовать" (Архив князя Куракина. 1710. Т. 3). С данным словом соотносительно прилагательное *нейтральный* "не примыкающий ни к одной из борющихся сторон, соблюдающий нейтралитет", заимствованное из польского языка *neutralny*, в котором оно восходит к среднелатинскому *neutralis*, суффиксальному производному от *neuter* "ни тот, ни другой, средний" (см.: Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М., 1994); "а поляки будут пребывают нейтралны, то ест ни на которую сторону" (Письма и бумаги Петра I. 1702. Т. 2); "к нейтральным народам принадлежащих кораблей... не осматривать" (Полное собрание законов Российской империи. 1717. Т. 5; 1782. Т. 21).

Суверенитет

С первого десятилетия XVIII века в дипломатическом языке употребляется полукалька с французского *суверенство*, *соверейнство* (ср. франц. *souveraineté*) и вариант *совранита*, из итальянского (*souvanita*, *sovranita*) в значении "полная, неограниченная власть, право верховной власти": "Совранита папешская делает всех принцев... скаявами, что в своих властных владениях не могут властвовать своими подданными" (Архив князя Куракина. 1707. Т. 4); "не допустить Августа привести в наследство ту корону и в суверенство себя" (Журнал или поденная записка Петра Великого... 1720. Ч. 2).

Галлицизм *суверенитет* (*souveraineté*) свидетельствуется едва ли не впервые в переводном произведении (с французского) "Рассуждение о оказательствах к миру и о важности чтоб оставить Гибралтар" (СПб., 1720): *Суверенитет* на море. Звуковую и графическую финаль это заимствование в русском языке получило под влиянием произношения и написания его в немецком языке *Souverenität*. В лексикографические справочники оно попадает лишь в начале XX века; в 3-е издание "Толкового словаря живого великорусского языка" В.И. Даля (1903), редактором которого был И.А. Бодуэн де Куртенэ. Впоследствии за этим словом закрепляется международно-правовое значение "полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и внешних сношениях"; ср. *государственный суверенитет*, *национальный суверенитет* "совокупность прав нации (народа) на свободу выбора социального и политического строя, на территориальную целостность, экономическую независимость и т.д."

В договорных актах и литературе, связанной с международной жизнью, нашло отражение новообразование второй половины XVIII века – *независимость* "суверенность, самостоятельность существования того или иного государства, пребывание вне подчинения кому-либо". Оно являлось обозначением того понятийного содержания, которое позже стало передаваться уже упомянутым заимствованием *суверенитет*: "К достижению же такого намерения..., которое равномерно интересуется безопасностью и независимостью всех европейских государей..., ея величество императрица Российская определила и уполномочила своего канцлера" (Собрание трактатов и конвенций. 1760. Т. 1); "сказано было, что нет намерения допустить татар к непосредственному трактованию с Портой о признании их независимости" (Архив князя Воронцова. 1772. Т. 26).

Волгоград



Д.Н. УШАКОВ. Русский язык

Эта книга должна была появиться еще в 1993 году к 120-летию Дмитрия Николаевича Ушакова, известного ученого, инициатора, главного редактора и одного из авторов знаменитого "Толкового словаря русского языка". Однако из-за нынешних издательских затруднений ей суждено было уже набранной ждать выхода больше двух лет. Она издана щедрым по нынешним временам тридцатитысячным тиражом. Издательские работники обеспокоены: раскупят ли, разоидется ли? В связи с этим вспоминаются мудрые слова академика-астронома В.А. Амбарцумяна, сказанные в ответ на сетования книготорговцев, что научная и учебная литература медленно уходит из магазинов: "Книга не виноград: не испортится".

И через пять, и через десять лет с интересом и пользой прочтут написанный М.В. Пановым и открывающий книгу, блестящий очерк жизни и творчества Д.Н. Ушакова. Знакомясь с ним, невольно думаешь: если бы о каждом из выдающихся отечественных языковедов были созданы такие очерки, получилась бы прекрасная история отечественной лингвистики в лицах. М.В. Панову принадлежат и составление книги, и комментарии к вошедшим в нее работам.

В книгу включено "Краткое введение в науку о языке". И сегодня это учебное пособие, увидевшее свет в 1929 г., поможет читателю понять сущность языка, избавиться от разного рода предрассудков, до

сих пор еще бытующих в обыденном языковом сознании, например, отождествления языка и письма, языка и орфографии (этот предвзвешенный суждение оказывается далеко не безобидным, когда речь заходит об орфографической реформе или о замене одной системы письма другой), мнения, что язык, на котором говорит тот или иной человек, – результат биологической наследственности, что родной язык находится в генотипе человека. Такой взгляд давно отвергнут языкознанием. Противником и опровергателем его был и учитель Д.Н. Ушакова академик Филипп Федорович Фортунатов. В Большой медицинской энциклопедии, вышедшей в 20-е годы, крупнейший отечественный генетик профессор Н.К. Кольцов в статье "Евгеньика" высмеял это стойкое заблуждение.

Однако еще немало людей считают язык биологическим, а не социальным явлением. Д.Н. Ушаков предостерегал: "Не следует думать, что дети по рождению уже предопределены к тому, а не другому языку. Дети усваивают и для них делается родным тот язык, на котором говорят с ними взрослые, и русский, например, ребенок может получить в качестве родного французский или какой-либо иной язык, если с ним говорить исключительно по-французски или на каком-либо ином языке". Говоря современными терминами, язык передается по каналу социальной наследственности, а не биологической.

Кроме "Краткого введения в науку о языке" в книгу вошли опубликованные и неопубликованные при жизни Дмитрия Николаевича статьи, выступления, рецензии, воспоминания, письмо Сталину.

Среди статей обращают на себя внимание три, посвященные орфоэпии, и стенограмма выступления о ней же. Дмитрий Николаевич был признанным мэтром в орфоэпии.

Интересно его понимание правильности написания и произношения: «Всякий литературный язык имеет внешнее условное письменное обличье – орфографию, или правописание, т.е. известные приемы письма, которые по традиции считаются "правильными". Никакой наукой нельзя доказать, что писать следует так или иначе. Могла бы быть другая, совершенно иная система письма для того же языка, и последовательное, без отступлений, ее применение было бы столь же "правильным".

Кроме этого письменного костюма, в котором является литературный язык, у него есть обычно и звуковое обличье, именно такое, а не иное, произношение звуков, признаваемое "правильным". Это – орфоэпия, или правопроизношение.

Что значит "правильное"? Понятие правильности и здесь так же условно: правильно то, что общепринято. Для науки о языке, подходящей к фактам с объективной точки зрения, нет ни правильных, ни красивых, ни безобразных произношений. Понятие правильности появля-

ется только у самих говорящих, стоящих на нормативной точке зрения. Оно появляется только при том условии, когда какое-либо одно известное произношение почему-то полюбилось... Отступления от него, естественно, признаются "неправильностями". Обычно правильным считается, что и понятно, произношение, свойственное тому диалекту, из которого выработался литературный язык, значит, диалекту той местности, которая стала центром национальной культурной жизни. Для русского литературного языка – это наречие города Москвы...»

Из такого спокойного, неземного отношения к правильности произношения совершенно не следует (как можно было бы подумать), что Дмитрию Николаевичу все равно, как произносят слова люди, желающие говорить литературным языком: "Школьнику может показаться, что произношение *што* – это неправильность, свойственная ему и его домашним, признак необразованности, раз в книге напечатано *что*. Тут на помощь должен явиться учитель... Здесь мы подошли к главной причине, почему буквенные произношения, естественно возникающие, не исчезают, а утверждаются в речи грамотеев. Действительно, нашей школе еще (это написано в конце 20-х годов. – Э.Х.) совершенно чужда идея орфоэпии. В то время как в Западной Европе, например, во Франции, высоко ценят правильное произношение, доходя до культа слова, у нас редкий учитель слышал слово *орфоэпия*.

Постановка преподавания родного языка, при которой язык смещивался с письмом, так что самого языка, вне его костюма – письма, оканчивающие школу так и не узнавали, как нельзя лучше способствовало тому, что на произношение внимания не обращалось..."

Думаю, читатель этой книги с интересом познакомится с очерком "Русский литературный язык" и примыкающей к нему по теме статьей "По поводу статьи Н. Рожкова". Что такое литературный язык? Как появился русский литературный язык? Какую роль сыграли в его появлении церковнославянский язык и московский говор?

Очерк отвечает на эти вопросы четко и просто.

И, наконец, письмо И. Сталину.

Дмитрий Николаевич пишет в нем о тучах, сгущающихся над известными языковедами. Они "в значительной степени устранены от участия в академической, вузовской и общественно-педагогической жизни... Из вузов они или ушли (всегда в значительной степени вынужденно) или поставлены в них на задворки, из научно-исследовательских институтов их исключили..., печататься они не могут, так как издательства боятся их печатать..., словом, заживо погребенность, социальная "зачумленность" – вот то "внимание" и "забота", которыми они окружены». Дмитрий Николаевич считал, что основная причина этих гонений – "политическая кампания, поднятая в последнее время периодической печатью против так называемого "индоевропейского" языко-

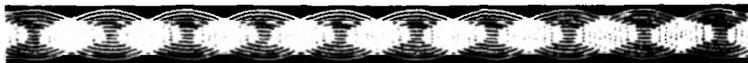
знания, т.е. в сущности, против всего языковедения, взятого в целом...". Он пишет, что эту кампанию возглавляют невежды, которые объявляют все языковедение "метафизико-идеалистическим, буржуазно-империалистическим, классово-враждебным пролетариату". Ученый утверждает, что вся кампания голословна, продиктована невежеством и усердием не по разуму.

Предполагают, что письмо можно отнести к началу 1932 г. А год спустя возникло печально известное "дело славистов". Дмитрий Николаевич чудом избежал участи своих несчастных коллег.

Один из учеников Д.Н. Ушакова, один из, как их в шутку называли, "ушаковских мальчиков", проф. А.А. Реформатский говорил о нем: "Дмитрий Николаевич никогда и ни в чем не был консерватором; он только органически не переносил всякую ложь и фальшь... Для нас Дмитрий Николаевич был всегда образцом и идеалом учителя, друга, человека и гражданина. Он был самым очаровательным человеком, какого я встречал в жизни: живой, умный, изящный, точный, озорной, и всегда благожелательный – редкое сочетание качеств в одном человеке!"

Спасибо издательству "Просвещение", которое сделало возможной эту встречу с Дмитрием Николаевичем Ушаковым.

Эр. Хан-Пира,
кандидат филологических наук



Т.В. ГУБАЕВА. Словесность в юриспруденции

Прекрасные пословицы *бритва скребет, а слово режет; слово пуще стрелы разит; за худые слова слетит и голова* приравнивают друг к другу слово и дело, слово и орудие деятельности. Небрежно брошенное в наш адрес слово может обидеть. Что же говорить о неверно сказанном слове в зале суда! Оно может повлечь за собой несправедливый приговор.

Для юристов, дипломатов, политиков именно слово становится основным орудием профессиональной деятельности. Правильному, точному и умелому обращению со словом необходимо учиться. Как нельзя кстати для студентов юридических учебных заведений в издательстве Казанского университета вышел учебник Т.В. Губаевой "Словесность в юриспруденции" (КГУ, 1995).

Автор поставил перед собой сложную задачу: на трехстах страницах изложить теорию языковедческих, психологических и риторических правил использования языка в юридической практике. Во введении к учебному пособию Т.В. Губаева обосновывает свое понимание словесности в юриспруденции. Это – "совокупность устных и письменных текстов, обеспечивающих речевое общение в процессах создания, обоснования и применения правовых норм" (С. 8). Автор ратует за то, чтобы студент "научился сознательному отношению к слову" (там же). Поэтому в учебнике наряду с юридическими понятиями и определениями можно найти и основные положения общей теории слова, риторики, принципы научной антропологии. А последняя глава посвящена кодексу профессионального речевого поведения юристов. Большое внимание автор учебника уделяет примерам из судебной практики по гражданским, уголовным и арбитражным делам.

В главе "Диалог, слово и личность" объясняются виды диалогических отношений и соответствующие им формы обмена мнениями. Так, кооперативным отношениям соответствует информационный диалог; агонистическим – эротематический диалог (партнеры лишь догадываются о той или иной точке зрения собеседника, поэтому задают уточняющие вопросы); антагонистическим – эристический диалог (взаимодействие несовместимых точек зрения в условиях конфликта). В другой главе излагаются общие принципы и правила аргументации. Теоретические положения подкрепляются примерами из реальной юри-

дической практики. Например, студенты могут прочитать выдержки из речи государственного обвинителя А.Г. Горного по делу Пеньковского О.В. и Винна Г.М., 7–11 мая 1963 г. Такие "живые" цитаты и их анализ, несомненно, служат украшением учебника.

Теоретическая часть книги базируется на классическом научном наследии. Т.В. Губаева дает краткие биографические справки об известных общественных и судебных деятелях, филологах, философях и юристах. Какие-то имена, наверняка, будут известны студентам: Сократ, Цицерон, М.В. Ломоносов, А.Ф. Кони. Другие, возможно, для многих станут открытием: И.А. Бодуэн де Куртенэ – русский языковед, основоположник казанской лингвистической школы; Поль Брок – французский хирург, один из создателей современной антропологии. Имена М.М. Бахтина, А.А. Потебни, П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета, В.И. Вернадского также часто встречаются на страницах учебного пособия.

В книге нашлось место и для правил современной русской орфографии и пунктуации. Они не будут лишними для студентов и юристов-практиков, уже давно окончивших школу и, возможно, подзабывших нормы правописания.

Язык изложения материала прост и понятен. Иногда кажется, что читаешь не учебник, а увлекательную книгу. Это позволяет легко запомнить содержание.

А.В. Гик



Этот восточный "кайф"

Некоторые исторические аспекты одного заимствования

А.Б. КАНАВЩИКОВ

Судьбы слов не всегда прямолинейны. Для примера возьмем широко известное слово *кайф*. Стереотип его употребления в последние десятилетия часто связан с приметами всего асоциального. Немудрено, что в журнале "Молодая гвардия" авторы самой различной ориентации рассматривают *кайф* исключительно метафорически. Приведем цитату из Ю. Макарова: «Вот, например, Ваше выражение "кайф" или, как говорят участники Ваших передач: "Кайф поймал, а-а-а, хорош-ш-о-о". Это лагерное выражение появилось лет тридцать назад. Чтобы поймать "кайф", употребляют чифирь... или сигареты с травкой. Появившийся дурман, легкая эйфория вызывают приятные воспоминания, грезы, фантазии, картины будущей красивой жизни – это и есть "кайф". Можно "кайфовать" на нарах или у костра с жестяной консервной банкой чифиря, которую передают по кругу» (Молодая гвардия. 1996. № 5). Опустим идеологическую направленность тирады Ю. Макарова, гораздо интереснее для предмета разговора другое: языковое пространство пресловутого "лагерного" *кайфа*. Цитата из "МГ" затем и приведена, дабы максимально широко проиллюстрировать ассоциативный ряд названного стереотипа, не исключая наркотического опьянения или жестянки с чифирем.

Как ни парадоксально это прозвучит, но когда-то в русском языке слово *кайф*, наоборот, было приметой изысканности, экзотичности и культивировалось частью просвещенного дворянства, но никак не контингентом тюрем. Да и появилось в России слово как минимум лет на 100 раньше срока, названного цитированным публицистом.

Впервые слово *кайф* засвидетельствовал в 1864 году словарь Толля (тогдашнее произношение слова – *kejf*). Сложнее вопрос об авторстве заимствования из арабского. Наиболее вероятно (по крайней мере, этот вывод никем не опровергнут), что появление в России слова *кайф* связано с именем ученого и журналиста Иосифа Юлиана (Осипа Ивановича) Сенковского (1800–1858).

Для нашего повествования важен факт организованного в 1819–1821 годах Виленским университетом путешествия Сенковского на Восток: в Турцию, Сирию, Египет, Эфиопию. Краткие заметки об этом путешествии вошли в первый том посмертного собрания сочинений Сенковского в девяти томах.

Там-то как раз и появляется слово *кайф*, при первой публикации снабженное следующей пометой: «Путешественники, бывшие на Востоке, знают, сколь многосложное значение имеет выражение *кейф*. Отогнав прочь все заботы и помышления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак, называется "делать кейф". В переводе это можно бы назвать – "наслаждаться успокоением"».

Здесь надо добавить, что для Сенковского Восток всегда был больше, нежели предмет исследований. Он почти буквально жил в мире восточной мифологии, и, как никто из своих русских современников, сумел погрузиться в философию и языковую стихию Востока. У Сенковского слово *кейф* и зазвучало впервые именно как живое явление отечественной культуры, он употреблял его вследствие невозможности сказать по-другому. А значит, можно говорить о свершившемся заимствовании.

В частности, в своем романе "Падение Ширванского царства" (1842) Сенковский опять-таки дважды употребляет *кейф* (Собр. соч. 1898. Т. 3. С. 368, 383), действуя, по сути, в полном соответствии со своим же правилом: "Когда изыскатель свергает с себя дряхлую оболочку европейского человека, он должен еще преодолеть бесчисленные препятствия, проистекающие от различия нравов, понятий и языка. Выражения, которые он употребляет в Европе и которые отвечают у нас за вещи, очень неверно изображают различные части общественного порядка на Востоке, так что нашими словами многое нельзя объяснить: он должен выучиться мыслить на чужом ему языке..." (Собр. соч. Т. 6. С. 74).

Следовательно, во-первых, слово *кайф* является простым заимствованием и, во-вторых, есть пища для размышления, как эстетски-специфическое слово нашло отклик совсем не там и не у тех, для кого предназначалось.

Великие Луки

Не верь глазам своим!

Н.А. ЕСТЬКОВА,
кандидат филологических наук

В третьем номере "Вопросов литературы" за 1996 год опубликован (посмертно) "Трилистник" Э. Бабаева, в который включены, в частности, три стихотворения Цветаевой. На стр. 317 журнала я с изумлением прочла:

Одену крест серебряный на грудь...

Чтобы Цветаева допустила грубую языковую ошибку – употребила *одеть* вместо *надеть*? "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!" Не только у такого поэта, но и у любого человека того поколения и той культуры.

Можно было и не проверять, но я все же открыла том Цветаевой. Конечно же, последняя строфа стихотворения "Над синевою подмосковных рощ..." из цикла "Стихи о Москве" начинается строкой:

Надену крест серебряный на грудь...

Я не спешила с этой публикацией, надеясь, что в редакции "Вопросов литературы" спохватятся и "реабилитируют" Цветаеву. Этого не случилось.

Сейчас нас особенно не удивит ошибками в печати – орфографическими, языковыми, фактическими. Но к "Вопросам литературы" – едва ли не самому достойному среди "толстых" журналов – невольно предъявляешь повышенные требования...